

владимир глотов • оглянись



владимир готов

ОГЛЯНИСЬ

жизнь как роман

москва • оги

2010

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос-Рус)6-4
Г??

Готов В. ?

Г?? Оглянись. Жизнь как роман / Владимир
Готов. — М.: ОГИ, 2010. — 256 с.

ISBN 978-5-94282-568-3

Можно сказать, эта книга — для амбициозных мужчин, полагающих, что не зря копят небо. Оглянись! — говорит такому человеку автор. — Попытайся понять свое прошлое. Где идеалы, где твои мечты? Туда ли ты забрел? Не потерял ли по пути друзей и любимых женщин?

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос-Рус)6-4

*Шестидесятникам-демократам,
либералам-западникам и прочим «пидарасам»,
как говорил «наш дорогой Никита Сергеевич».*

ISBN 978-5-94282-568-3

© В. ?. Готов, 2010
© ОГИ, 2010

Глава первая

ПОБЕГ В СИБИРЬ

В минуту уныния мне казалось, что моя сибирская эпопея бессмысленна. Зачем я когда-то поспорил с товарищем, выясняя, надо ли специально подвергать себя испытаниям или можно стать человеком и добиться успеха, продолжая жить в привычной обстановке?

И вот: уехал...

Москва начала шестидесятых представлялась мне душным мещанским городом. Других я не видел. И хотел вырваться из высотного дома на Смоленской площади, где после окончания института работал.

Повод не заставил себя ждать. Я встретил Еву, ей было девятнадцать лет, она послушала мои стихи, посмотрела на меня шоколадными турецкими глазами и сказала серьезно и страстно:

— Лушин, ты — поэт!

Конечно, я поверил ей. Разве девушка с таким именем могла ошибаться?

Жизнь в бухгалтерии, среди престарелых женщин, с которыми я проводил рабочий день, стала для меня сплошным кошмаром. А тут еще нанес ви-

зит в настоящую газету, в «Комсомольскую правду». Заместитель главного редактора Борис Панкин вежливо полистал то, что я сочинил, положил в нижний ящик стола и посоветовал поехать куда-нибудь в Сибирь, на комсомольскую стройку, вот хотя бы в город Сталинск, где как раз начинали сооружать металлургический комбинат.

— Месяца на три, на четыре, а? — предложил он. — А потом приходи к нам. Надо набраться жизненного опыта, — пояснил он свою мысль.

И устало — время было полночь, шла работа над номером, — пожал мне руку.

И улыбнулся на прощанье.

Так неожиданно я получил поддержку, сперва от Евы, между ее поцелуями, потом от большого журналистского начальника. Окрыленный надеждой, я пришел в отдел кадров «Межкниги» и сказал, что покидаю ошибочно выбранную стезю.

Не тут-то было! Принялись пускать кровь. Собрали комсомольское собрание. Меня прорабатывали две недели, грозили растоптать, но обещали поддержку, если выкину дурь из головы. Готовы были даже послать работать за границу, если, конечно, к тому времени женюсь. Неженатых не посылали. Я мог стать с годами главным бухгалтером, сменить на этом поприще усатого главбуха, который сидел у стены огромного зала, а все двадцать дам расположились за своими столами спиной к нему, и он выкрикивал: «Марья Ивановна!» — и та, встрепетавшись плечами, мгновенно оборачивалась: «Да, Егор Кузьмич!» Главбух задавал ей, через неподвижные спины других женщин, свой вопрос, получал ответ, на некоторое время контора погружалась

в тишину, которую нарушало лишь поскрипывание арифмометров «Феликс», пока опять не раздавалось зычное: «Анна Петровна!»

Вот так и я буду покрикивать, думал я в ужасе. Надо только поддаться на уговоры, выбросить из головы Сибирь и журналистику, жениться поскорее на Еве, и тогда можно объехать полмира и даже дослужиться до чего-нибудь более значительного, чем должность главбуха «Межкниги».

Я был глуп, даже как-то вызывающе глуп в глазах сверстников, получивших распределение в высотный дом на Смоленской площади. Что же говорить о людях зрелого возраста. Меня искренне не понимали ни институтские товарищи, ни соседи по коммуналке, сочувственно кивавшие матери, ни она сама, мечтавшая, что вот теперь-то и начнется счастливая жизнь после стольких лет скудного прозябания, изнурительной зубрежки китайского языка под вечно растянутыми над головой нитками с нанизанными на них бумажками, наподобие елочных флажков, на которых были написаны иероглифы, да еще с немецкой овчаркой, для которой тоже нашлось место за шкафом в десятиметровке, где у матери был диванчик, а у меня — раскладушка. Если к этому добавить то, что через комнатное пространство пролегла неприкосновенная полоса, по которой и днем и ночью проходили соседка-старуха и ее тридцатипятилетняя дочь, озабоченная собственной личной жизнью, которую никак не удавалось устроить, — то картина нашего быта станет понятна. Как и перспектива выбраться из убогой обстановки, занимавшая столько места в душе моей матери. И тем более очевидна будет ее грусть.

Ведь она так надеялась, что я пойду по стопам отца. Воспоминания о пятикомнатной довоенной квартире, обедах в «Метрополе», кротовой шубке и персональной «эмочке» — все это когда-нибудь, надеялась мать, начнет воплощаться в реальность. Пусть даже не для нее.

Но я решил по-другому.

На мое заявление не реагировали. Тогда я перестал ходить на работу. Отчаянный по тем временам шаг. Ко мне домой, где я сидел в одиночестве, как сыч, если не считать собаки, а соседей я не замечал — привычка абстрагироваться, иначе я бы не выучил китайский, — пришла делегация от коллектива. На меня смотрели с ужасом, что-то долго говорили, но доводы на меня не действовали. Ева по-прежнему считала, что я настоящий поэт и, кажется, начинала меня любить, да и я испытывал к ней нечто возвышенное.

В какой-то день меня чуть ли не насильно повели к самому страшному человеку, начальнику в «Межкниге» над всеми. Фамилия у него была подходящая: Змеул. Я чуть не умер от страха. Ведь я был всего лишь упрямым мальчишкой, которому едва исполнилось двадцать четыре года. Я не помнил, что мне говорили и что я отвечал, как вышел из кабинета. Я не хотел мириться с судьбой. И тогда инстинкт самосохранения подсказал мне: беги!

— Давай уедем, — предложил я Еве.

Остальное было делом техники: раздобыть комсомольские путевки на ту стройку, о которой говорил Панкин.

Целый месяц мы с Евой ходили в московский горком комсомола, добивались, чтобы нас отпра-

вили в Сибирь, а нам не верили, потому что мы просились на восток, а не на запад. Такое и правда казалось подозрительным: ну кто же просто так, по своей воле ломает себе карьеру и едет по их призыву на стройку!

Наконец, мы надоели, и нас спланировали из Москвы с глаз долой. На прощанье выдали комсомольские путевки, а мне в «Межкниге» еще и характеристику. И те, кто совсем недавно распинал меня почем зря, теперь написали, что считают возможным использовать Андрея Лушина на работе по строительству металлургического комбината. Спасибо и на том. А когда я уехал, один из моих однокашников по институту организовал даже письмо Змеула в Сибирь, в котором тот меня хвалил, отмечал мой патриотизм и высокие моральные качества. Письмо подписала вся внешторговая камарилья, в том числе и начальник отдела кадров, который грозил растереть меня в порошок, а потом, когда я пришел из горкома с красной книжицей, засуетился и, решив, что дело сделано, обратно глупца не воротишь, продал мне несколько томиков из не нужной самому библиотеки поэзии — такие маленькие книжечки-лилипуты я впервые тогда увидел и был очень им рад.

Меня канонизировали.

Через месяц я стоял посреди стройки, которую здесь называли Антоновской площадкой по имени местной деревеньки, в пыли, горячечно оглядывая, куда меня занесло. А заезжая журналистка из Москвы брала у меня интервью. Она опубликовала его под привычным для времени заголовком «Сердце в тревожную даль зовет». Я узнал об этом из пись-

ма приятеля из «Межкниги», который сообщал, что заметка красовалась в стенгазете рядом с посланием Змеула ко мне. При этом он приложил черновик «послания», созданного, понятно, им самим, чтобы я не особенно зазнавался.

Под ногами у меня была теперь окаменевшая глина со следами от гусениц бульдозеров.

Повсюду — как бы одно лишь начало. Ничего законченного. Здесь что-то вылезло из земли. Там котлован с выглядывающей из него кабиной экскаватора. Нагромождения бетонных плит, блоков, стальных конструкций. Кусты травы сиротливо теснились, окруженные со всех сторон изуродованной землей. Я иногда находил такой островок, садился на запорошенную пылью траву, жалкую и беззащитную, и любовался окружающим ландшафтом. Глаза не замечали ни жестокости, с которой мы издевались над природой, ни убогости наших амбиций. Напротив, я был в восторге от увиденного.

Дождь превращал окаменелости в трясины. В ней со стоном гибли машины. Их рыдания сопровождали меня повсюду. Я ходил в клетчатой ковбойке, чехословацких ботинках на протекторе, в зеленой туристской куртке, выгоревшей за лето так, что я буквально сливался с серой землей. К тому же слой пыли покрывал меня с ног до головы. Худой и подвижный, совершенно не чувствующий своего тела, я легко перепрыгивал с одной вздыбленной плиты на другую, не беспокоясь, что переломаю ноги.

В поселке мы ходили с Евой по доскам, проложенным между домиками-двухэтажками. Но уже

появилось три четырехэтажных здания. В одном проживало начальство. В остальных разместились общежития, мужское и женское. Судьба мне улыбнулась, и я избежал этой карикатуры на человеческую жизнь, но видел тех, кто годами, а иные и десятилетиями, жили в сутолоке таких «общаг», на виду друг у друга, располагая лишь казенной койкой и тумбочкой, огороженные забором из запертов и предписаний.

Нам повезло.

Журналист из местной многотиражки, которому я привез записку от приятеля из Москвы, воскликнул:

— Опля! Значит, мой друг в «Юности» сидит, а мы тут пыль глотаем... Ничего, старичок, мы еще рванем, утрем нос московским пижонам!

И объяснил, что тот, кто передал записку, его университетский товарищ, теперь обосновался в отделе поэзии журнала «Юность», — и стал спрашивать, как он там.

Но я мало что мог ответить. Встреча была случайной. Да и малоприятной. Я принес стихи «под Маяковского», они не понравились, да еще, как выяснилось, я, убивший пять лет на зубрежку китайского, напрочь опростоволосился: не знал Багрицкого. Не читал. Меня вогнали в краску маститые поэты из «Юности» — Олег Дмитриев и «живой классик», как я решил, Николай Старшинов.

И вот теперь я опять почувствовал, что краснею. Я не знал, что было написано в записке, но подумал: наверняка и про Багрицкого. Я, конечно, уже его проштудировал, но все равно чувствовал себя неловко перед новым знакомым, одногодком с ку-

банским выговором, лукавыми маленькими глазками и ежиком жестких волос.

— Как ты понял, я — Гоша Левченко, — сказал он. — А ты — тот самый лопух, который бросил Внешторг. Так?

Я промолчал.

— Ты не обижайся. У нас тут каждой твари по паре. Но из Внешторга ты будешь один.

Так я попал в новую для себя компанию, совершенно не похожую на прежнее мое окружение.

Журналист, секретарь комитета комсомола, инженер-сантехник с гитарой, пара девиц, мечтавших выйти замуж за кого-нибудь из приезжих и надевавшихся, что московские жены, не в пример Еве, не последуют за мужчинами в Сибирь, кое-кто из рабочих ребят, придававших собранию фундаментальность, да вот теперь мы с Евой — проводили вместе практически каждый вечер. Пели песни, от Визбора до блатного фольклора, пели и: «...в коммунистической бригаде с нами Ле-е-е-нин... впереди!» — пели вдохновенно, без иронии и заднего смысла. Конечно, и пили от души. Говорили о политике. Перебивали местные кости, толковали о делах стройки, устраивая своеобразные домашние планерки. Все это с криком, в табачном дыму, с отлучками за очередной бутылкой. На полу грязь, окурки, на столе бычки в томате. И счастливые глаза Евы, которой оказывали особое внимание. Я был на седьмом небе.

Заполночь расползались по углам. Кто где, кто с кем. Инженер-сантехник по фамилии Ливенсон уступил мне только что полученную однокомнатную квартиру — легко и естественно, а сам перебрался

к комсомольскому секретарю в соседний подъезд, где уже обитал журналист из многотиражки и где происходили ежевечерние посиделки. Из мебели нам досталась кровать и сваренный из арматуры шкаф: каркас, обтянутый парусиной, вроде пляжной кабинки. Я был в восторге.

К хозяину квартиры Ливенсону мы ходили в соседний подъезд, вернее, к секретарю комитета комсомола стройки Вербицкому, у которого Ливенсон поселился, да и Гоша там обитал, — при этом не надо было спускаться и опять подниматься на пятый этаж, достаточно было перейти по чердаку, тропа была уже проложена.

Помню, как во время очередной вечеринки Вербицкий свалился без сил и заснул. Было три часа ночи, в дверь застучали.

На пороге стоял комсорг управления механизации хитроватый Лозеев. Пришел за Вербицким, того разбудили.

— Старик! — сказал Лозеев. — Пойди пожми ребятам руку.

Ночная смена закончила монтаж лыжной базы, по местным масштабам очень важного объекта. И надо было поздравить работяг. Такие игры воспринимались как само собой разумеющееся. Вербицкому в голову не пришло ответить: «Ты что? Сдурел?»

Высоченный и худой Вербицкий, или просто Венька, как его все звали, хотя ему исполнилось тридцать, мгновенно отреагировал на ситуацию. Прогоняя остатки сна и хмеля, ополоснул лицо, надел сапоги и ушел в ночь. И возвратился уже на следующий день вечером.

Я безоговорочно принял игру. И даже долго воспринимал ее всерьез в силу романтизма и склонности к идеализации действительности. Скажи мне в ту пору, что Вениамин Вербицкий — партийный шаман, я бы не понял, о чем речь.

Окружающий мир представлялся мне лишенным пошлости. И конечно, эстетически совершенным. Поступки людей и сами люди, их облик, их речь — буквально все, казалось мне, несло на себе отпечаток гармонии, обладало чувством меры.

Гоша Левченко, например, ходил в кирзовых сапогах, выцветших штанах и, конечно, ковбойке, обычном наряде стройки. Но я смотрел на него, как на небожителя. Жесткий ежик, узкая полоска загорелого лба, под которым, отделенные пучками густых черных бровей, поблескивали юморком маленькие лукавые глазки кубанского станичника. Он обращался ко мне: «Старичок!» И я готов был рыдать от счастья.

В сущности, Гоша Левченко был добрейшим малым. Был талантлив, обладал природным вкусом, острым глазом и — что немаловажно — был работоспособен, хотя и пил временами без меры. Но наступал момент, когда Гоша завязывал и садился за стол. Он первым из компании расстался с журналистикой, решив: пора становиться писателем. Начал сочинять по горячим следам роман о стройке.

В поле моего зрения в это время появились еще два литератора. Василий Аксенов, почти мой ровесник, живший в Москве, которым я зачитывался. И провинциал постарше — Александр Солженицын, возникший неведь откуда. Я их никогда не видел, но, прочитав, понял: птицы большого поле-

та. И, к удивлению своему, заметил, как менялся Гоша, стоило завести разговор об Аксенове. Нива, которую распахивал Гоша Левченко, была иная, и я почувствовал напряжение в тоне, легкое пренебрежение знатока жизни к московскому пижону, как называл Гоша Аксенова. Я же проглатывал все, что доходило в Сибирь, каждый рассказ, спрашивал у Гоши: «Читал?» В ответ Гоша в очередной раз завязывал и садился «кропать» свой ответ Чемберлену. Солженицын же находился вне зоны его состязания с Аксеновым. Такой артиллерии ни у кого на стройке не имелось.

Как бы там ни было, но буквально в считанные месяцы Гоша Левченко превратился в писателя. Сперва мы его так называли в шутку, а потом это стало привычным. Он написал и напечатал свой первый роман «Просто Мамочкин» — по стройке ходил рабочий паренек, бывший детдомовец, конечно, добрый и ранимый, в душе идейный, которому чужда показуха и ненавистен блат, — словом, такой, каким и пожимал руку Вениамин Вербицкий, чтобы они не теряли веры в идеалы Ильича, а Ильич являлся непререкаемым авторитетом. Мудрый парторг, старательно списанный Гошей с местного секретаря парткома, — живое воплощение вождя — помогал в романе детдомовцу бороться с бюрократами и любовно пестовал душу Мамочкина, тем самым подтверждая мысль, в справедливости которой никто не сомневался: что именно стройка формирует личность, а если шире — ее формирует система. Значит, неплоха она, социалистическая система, если стержнем ее служат кристальные люди, которым верят и на которых опираются рабочие паренки.

По мере литературного продвижения Гоша толстел. Бывали периоды, когда он заплывал, как буддийский божок. На его счету уже были повести о первом милиционере стройки, о парторге. Хитрость кубанского станичника, ставшего писателем, состояла в том, что герои его сочинений, в отличие от героев Аксенова, не говоря уже о героях Солженицына, утверждали право коммунистической идеологии под солнцем, несмотря на полуночную болтовню, которую я слышал от своих друзей.

Конечно, я и сам пел вместе со всеми на ветру в кузове машины: «И Ленин такой молодой, и юный Октябрь впереди...»

А однажды по поручению Вербицкого отправился в областной город, в музей, чтобы отыскать в его запасниках красное знамя 30-х годов, времен Кузнецкстроя, и запустить его в качестве переходящего стяга по второму кругу. И привез-таки знамя, и описал свое путешествие по ночному Кузбассу через шахтерские поселки, мимо дымящихся рыжих терриконов. Вербицкий раздобыл тяжелую трехосную машину, дефицитнейший грузовик, только что полученный стройкой. Музейные крысы цеплялись за ветхий кусок материи с надписью «КИМ» — Коммунистический интернационал молодежи, но я выцарапал его у них и был очень рад, что у меня появился первый журналистский сюжет.

На стройке собрали оставшихся в живых строителей Кузнецкого комбината, устроили им на радость что-то вроде вечеринки, с речами и водочкой. Старики выпили, прослезились, рассказывали истории из жизни Кузнецкстроя. Среди них я запомнил огромного костистого старика, которого в моло-

дости называли «человеком-экскаватором» за то, что он в одиночку выбирал 25 кубометров грунта. Захмелев, никто из них ни словом не обмолвился о мрачной и таинственной стороне жизни. Вот и я написал душевную заметку про знамя, про гитару Ливенсона, тоже перекочевавшую в музей в качестве экспоната. Шел тысяча девятьсот шестидесятый год, прошло всего несколько лет после двадцатого съезда партии, но уже новые мифы спешили занять место прежних. И я долго верил, что Веня Вербицкий — это и в самом деле олицетворение нового времени. Однако в качестве слабого оправдания, вспоминая свою молодость, могу сказать, что герои романов Гоши Левченко, вроде парторга стройки Федора Черного, уже тогда вызывали у меня неприятное чувство, а порою отвращение. Однажды я застал Федора Черного в задней комнате — подсобке столовой, когда сам туда завалился вместе с Гошей за дефицитным пивом: парторг отоваривался по полной программе.

Сам же я в ту раннюю пору оказался в роли ученика каменщика. Ни на что более серьезное, необходимое стройке я не годился. Это Ева довольно быстро освоилась и работала мастером — все-таки у нее за плечами был техникум: мосты, тоннели... Спасаясь от пыли, она обвязывала голову натуго платком в виде овала с вытянутой верхушкой, как у египтянки времен фараонов. Такова была мода на Антоновской площадке, все девичьи ходили, подражая Нефертити. Ева долго не могла привыкнуть к рабочей среде, к матюгам, к залитым щами пластиковым столикам и подносам. У нее по вечерам сильнее обычного разбалывалась голова.

Ева говорила со слезами на глазах:

— Ни к чему я тут не привыкну, Лушин. Отбуду, как каторгу, и уеду!

Я пытался успокоить ее, но сам порою еле держался на ногах. Виделись мы не каждый день. То я уходил утром, а она в вечернюю смену, то наоборот. И даже к этому ее обращению: «Лушин» — я привык.

Обычно я разгружал машины с кирпичом или шлакоблоками. Ветер сдувал в лицо доменную крошку, пыль била залпами, глаза болели, не переставая, уже неделю. Я молил Бога, чтобы к концу смены не было больше машин, но последняя приходила, как назло, под самый занавес. Значит, надо остаться и разгружать, разгружать... На пустой пачке от сигарет «Прима», подобранной в кузове машины, я нацарапал карандашом:

*Блоки — такие штуки:
Каждый — полтора пуда,
Бьют и царапают руки,
Работать с ними трудно.
Роят траншею парни,
Режут землю лопаты.
Вон устал напарник,
Катятся комья обратно.
Эта бригада — солдаты.
Им посвятят поэмы,
Им, в сапогах и бушлатах,
Памятник выточит время...
Знайτε, поэты, знайте:
Песни пелись нечасто.
Чаще — работа в ненастье,*

В ней находили счастье...

Эта бригада — солдаты.

Откуда взялись солдаты? Никаких демобилизованных солдат около меня в те дни не было. Хотя на стройку они, конечно, приезжали — партия за партией. Их сгружали, и они, облачившись в новенькие синие телогреечки, кобелились стайками, охаживая какую-нибудь симпатичную геодезистку.

Я работал с подсобницами Машей и Нюрой, здоровенными деваками из сибирской глуши. Я ненавидел их за их мощь и двуличие. Я давно выбился из сил, а они все пашут и пашут. Угрюмые, спросишь о чем-нибудь, в ответ только: «Ну!» — «Сколько же в них силы? — зло думал я. — Когда же она иссякнет? Да женщины ли они?»

Маша с Нюрой таскали на леса к каменщикам носилки с раствором, а я едва успевал замешивать песок с цементом. Нет, не успевал! И тогда одна из них хватала молча лопату и начинала шуровать в корыте, а другая говорила: «Давай, москвич!» — и я, заменяя одну из девиц, брался за поручни носилок и плелся за необъятным задом по доскам лесов. Руки отваливались, меня бросало в пот и от усталости, и от стыда, что сейчас выпущу две деревянные рукоятки и мерзкая жижа хлынет под ноги. Я твердил, как заклинание: «Ну, споткнись же, споткнись!» Но ни Маша, ни Нюра никогда не спотыкались, и меня могло спасти от позора только чудо. Я смотрел на обтянутый грязным комбинезоном необъятный женский зад, пытался настроить себя на сексуальную тему в надежде, что это придаст мне силы, но ничего не помогало. Я был жал-

ким бесполом существом, работягой, впереди которого двигалась просто машина.

Меня спасал от позора или очередной грузовой, и я на этот раз с радостью отправлялся разгружать кирпич или блоки, или же одна из девиц уже наметила полную бадью цементного раствора и молча выхватывала у меня из рук носилки.

Не знаю, как после такой работы в голове возникали фантастические образы каких-то романтических «солдат», какого-то «рабочего класса» и «поэтов»... И вымышленное «счастье», которое люди находили в работе, причем обязательно «в ненастье».

Однако совет «поменьше дребезжать», полученный в редакции «Юности», пошел мне на пользу. Я учился прислушиваться к себе.

*Клены опять застыли,
Листья в ногах шуршат...
Помню, вместе были,
Помню, осень ушла.
Помню, близко тает
Лицо твое и глаза,
Помню, как, вставая,
Я ничего не сказал...*

Что таить, мои стихи напоминали неразвившихся подростков, тщедушных, наивных. Возможно, продолжи я свои поэтические опыты, из гадких утят выросла бы пара лебедей. Но мне захотелось иметь синицу в руке. И она не замедлила явиться в облике журналистики, будь она неладна, и начисто вытеснила поэзию.

И пошло-поехало.

Из бригады каменщиков меня, пожалев, перевели в монтажную бригаду. В качестве ученика каменщика я зарабатывал за месяц столько, сколько составляла моя студенческая стипендия. В монтажниках пошло веселее. «Майна-вира!» — я лихо покручивал пальцами штопором и покрикивал крановщику: давай, мол, шуруй!

Тут не было монотонной работы, появился элемент разнообразия, неожиданности.

Я то брал кувалду и отправлялся долбить по какой-нибудь железке, которую указывал бригадир, то держал стальной профиль, прикрывая другой рукой глаза от вспышек электросварки и чувствуя через рукавицу, как теплеет металл.

Или в одиночестве сидел, как в окопе, посреди свинороя, в так называемом «стакане», то есть в бетонном углублении, куда поставят основание колонны. И долбил замерзшую на дне воду, скалывал ломиком лед. Никто мне не мешал, не задавал ритм, ничья спина впереди не маячила, ничей зад мною не руководил.

Или в ночную смену шлепал плиту за плитой, перекрывал крышу, отчаянно перебегая над невидимой в темноте пропастью по восемнадцатиметровым балкам. И хоть бы что! Только на следующий день при свете солнца возьмет вдруг оторопь. И что интересно — за такую, вполне творческую, работу платили в два раза больше.

Но когда я садился за стол, в голову лезло бог знает что.

*Моя душа споткнулась о беду.
Растерянная, просится присесть.*

*Ей от метаний тяжело, как в аду.
Она как рыба, пойманная в сеть.
Освободи ее и сеть сними.
Пускай душа — как парус в суете.
А женских глаз тревожные огни —
Как маяки, ведут ее во тьме.
Но крикнул кто-то в этом забыты —
И донеслось сквозь утренний туман:
«Ты о своем непройденном пути
Забыл с похмелья, видно, капитан!
Забыл, как пахнут волны и песок,
Хотя и песен всех не написал,
Не все широты в море пересек,
Не всех ты чаек в небе сосчитал.
Спеши на пирс по утренней тропе,
Пока тропа росу не отдала,
Чтоб высохла, помня о тебе,
Твои следы, как слезы, сберегла...»*

Я так и не справился с этими «слезами» и с этой «тропкою», понимая, что слезы — как раз то, что вряд ли возможно сберечь, если бы даже очень захотелось. Но оставил все как есть: как сложилось, так сложилось.

А жизнь катилась своим чередом. Антоновская площадка, где разворачивалось строительство металлургического завода, исторгала из себя все новых промышленных уродцев, как самка-мутант. И уже не хотела именоваться прозаично в честь стертой с лица земли сибирской деревеньки. И возникло словечко: «Запсиб» — не Гоша ли его запустил в оборот?

Загудела идеологическая печь, опередив доменную. В ней сгорали не мне чета — поэты с апломбом,

журналисты с именем, визитеры-кинематографисты и даже маститые писатели. Все хотели отметиться и вылетали прахом в трубу.

А мы, молодые и зеленые, не хотели отставать и тоже создавали легенду о Веньке Вербицком, об особом нравственном климате стройки.

У Гоши, например, лучше всего получались грубоватые и одновременно нежные рабочие ребята. Ради дела они могли пожертвовать тарелкой весенней окрошки. Присел такой парень к столу, отстояв час в очереди, вдруг его окликнули, сказали: «Надо!» И человек, не попробовав этого весеннего чуда, опять за баранку, в грязную кабину.

Рассказ так и назывался — «Первая окрошка».

Умный и дальновидный Веня Вербицкий выбирал простые и понятные вещи. Не было на стройке своего клуба — он бросил клич: «Построить!»

И действительно, построили за тридцать шесть дней. Я и сам, только-только начавший работать в монтажной бригаде Петра Штернева, которому комсомольская затея, хотя и была «до лампочки», давала возможность неплохо заработать, — потрудился на этом ударном объекте.

Вербицкий кинул на эту стройку в качестве начальника комсомольского штаба Юрия Пушкина. Тот откровенно завидовал славе легендарного секретаря, и сам стремился сделать карьеру, и, конечно, готов был расшибиться в лепешку. Пушкин закрутил вокруг себя вихри деятельности, работяги ни в чем не нуждались. Он вытрясал душу из рядового прораба. Даже управляющий трестом Казарцев, из которого ничего вытрясти было нельзя — он сам из любого вынимал душу играючи,

принимал у себя Пушкина по первому звонку, и тот вбегал к нему в кабинет, где шла планерка, кричал на всех петушиным голосом, бил кулачком по столу и, как ни странно, добивался, чего хотел. А потом садился на свой мотоцикл «Урал» с коляской и, подняв тучу пыли, уносился прочь.

Уродец, напоминающий депо, с фермами, нависающими над головой, которые как раз монтировала бригада, где на подхвате я работал, открылся в срок.

Народ повалил, как в цирк.

Сразу за клубом начинался крутой подъем на гору Маяковскую, она возвышалась над всем поселком и была покрыта девственной травой и березняком. Ее давно переименовали в «гору любви», но даже она не могла скрасить скудную действительность и убогую обстановку, в которой жили скопления молодых людей. А эшелоны прибывали и прибывали. То сплошь женские, в основном из Иваново, то «солдатские» отовсюду.

Теперь в клубе крутили каждый вечер кино и устраивали танцы. Жора Айрапетян, конечно, зверствовал со своим особым отрядом дружинников, но это принималось как данность.

Иногда приезжали артисты с концертом.

Невероятно, но с тоски народ ломился даже на выставку «Норманнское искусство семнадцатого века», которую привезли по разнарядке и не знали, что с нею делать. Теперь все пошло под общую радость.

Потом в голове Вербицкого возникла новая идея: открыть на Запсибе филиал металлургического института. И опять — убедил, уговорил. А ведь мало

кому из педагогов хотелось ехать кружным путем из города — моста через Томь еще не было, — деля крюк через Старокузнецк, и вести занятия в наспех оборудованных холодных помещениях, учить пеструю публику, непохожую на студентов. Наглядные пособия, транспорт, питание для преподавателей — масса проблем.

— Никанорыч! — звонил Вербицкий главному диспетчеру треста, частому гостю на полночных посиделках. — Дай, старик, автобус для учителей.

Ни заявок, ни виз, все делалось на элементарной дружеской основе.

При этом Вербицкий оставался для всех просто Венькой. Мало кто знал его полное имя, не говоря об отчестве. А ведь ему шел четвертый десяток лет.

Он мог с каменным лицом стоять в почетном карауле у гроба разбившегося на железнодорожном переезде шофера. Мог вместе со всеми сажать вокруг детского сада деревца. Мог и пить до полночи, а наутро проникновенно смотреть в глаза, вручая комсомольский билет. Его руки сжимали древко знамени, и он гордо нес его на слете, возвышаясь над всеми на голову. Голос его в такие минуты дрожал.

Лихость и штурм сопутствовали всему. И эти большие, расширенные в экзальтации, глаза.

А хорошо ли шла работа на стройке? По-всякому. Но работа, если рядом оказывался Веня Вербицкий, романтизировалась. Например, возили самосвалы грунт и гравий. Жижка — море грязи. Машины тонут в ней, шофера матерятся, сирены режут, народ шахрается и звереет... Но Вербицкий назвал объект «курской дугой». Он сказал: «Это бой!» — и бочку кваса лично доставил шоферам в карьер.

Все мероприятия у Вени носили откровенно ритуальный характер. Он не выносил серости жизни и стремился придать ей ореол необычности. И даже загадочности. И это очень нравилось. В нетерпении мысленно мы опутывали земной шаг миллионами километров стальной проволоки, которую произведет Запсиб. Тянули эту проволоку до Луны. Ну кого могли вдохновить осточертевшие маринованные помидоры, портянки в прихожей в общежитии, бестолковщина на стройке, бесконечные призывы экономить, экономить, когда вокруг ржавеет под дождем импортное оборудование, все эти оперативки, втыки и штурмы, однообразные и скучные. А тут вдруг автопробег «Запсиб — Марс»! Космическое противостояние планеты вооружило фантазию, и даже мне стало казаться, когда я копал траншею под фундамент бани, что все вокруг не так уж плохо. Если еще присесть в кружок и выпить по стаканчику «Анапы» — почему-то на стройке в те годы продавали именно это дешевое вино, — то жизнь предстанет в другом обличье.

Вот и задумаешься, чем был для меня и таких, как я, Запсиб.

Может быть, ситуацией отклонения?

Отклонения от нормы, от эталона, от того, что представляла реальная советская жизнь?

Может быть, я поехал именно это искать? Что-то вроде воли? Запорожскую сечь?

В голове крутился образ: фаланстер, «республика Запсиб». Как попытка прорваться в будущее, которое я плохо себе представлял. Отвергая унылую действительность, я готов был принять душою то, что утверждалось у меня на глазах на пяточке

Антоновской площадки: смесь максимализма и амбиций, идеализма и выпренности. Не хотелось просто так жить в провинции, за рекою, вблизи города Сталинска. Вся страна продолжала еще жить в городе Сталинске, а тут — казалось мне — уже выбрались за его пределы.

Какое-то время я играл в компании роль поэта. Вербицкий был идеологом и просто «легендой». Он — патриций, можно сказать: божество. Он мог просто сидеть во главе стола и произносить речи, мог и не произносить, а молчать, в зависимости от настроения. Все равно в стакан в его руке плескали бы без задержки. Ливенсон — бард, он отдал первую гитару в музей, играл на другой, которой тоже превосходно владел. Гоша был, конечно, шутом, пытавшимся спорить с патрицием, классик в нем еще не проснулся. Работяги — статисты. Меня же, полагая, что поэты не вполне в себе, никто не обижал. Так продолжалось примерно с год.

Но вот однажды моя монополия закончилась.

Из Москвы приехал Владимир Леонович, можно сказать, профессионал. Он так воспел обыкновенный обрывок троса, брошенный у дороги, — свое свежее впечатление, — что я понял: пора перекалифицироваться в оправдомы.

Сперва Леонович отобрал у меня поэзию. Потом... но не буду забегать вперед, ломать прежде времени сюжет.

Трудно сказать, сколько бы продолжался романтический угар на сибирской стройке. Зависел ли он от общих причин, от того, что происходило в стране, или все держалось на личности Веньки Вербицкого?

Пролетело жаркое и пыльное лето, настала осень, превосходная в Сибири пора. Только-только я начал зарабатывать приличные деньги в монтажной бригаде и расплачиваться с долгами, как вдруг Вербицкий засобирился в Москву.

Окружение восприняло известие как катастрофу.

Перед отъездом Веня Вербицкий, в один миг постаревший, с тяжелыми мешками под глазами, позвал меня к себе «на разговор».

— Старик, — произнес он проникновенно. — Пойми, старичок, ты единственный, кто сможет сохранить традицию. Пришлют из ЦК функционера. Что будет с Запсибом?

Его глаза смотрели печально. Тени под ними свидетельствовали о неблагополучии почек. Хроническое недосыпание и груз выпитого добавляли печали облику Венички. Как можно было отказать такому человеку?

— Что я должен сделать? — спросил я.

— Ты станешь заместителем секретаря комитета стройки. Моим заместителем. И когда я уеду и пришлют «варяга», ты будешь спасать стройку. Ты понимаешь? Спасать Запсиб! Иначе он все угробит.

— А он кто?

— А-а... Серая мышь. Но если их соберется много, все пропало.

Из бригады я ушел в одночасье. Появился в комитете комсомола. Пару раз вымыл пол, подражая Веньке Вербицкому. Побегал с утра по бригадам, поговорил о том о сем. На какой-то субботник отвез лопаты.

Вот и все, что успел в смысле сохранения традиций.

Провожали Веню узким кругом. Напоминало похороны. И так же спешили и суетились. Трезвым был только я. Погрузили легендарного секретаря в грузовичок, накрытый от ветра фанерой. Утро было морозным, а Вербицкий — в легком пальтеце и в полубредовом состоянии. Переваливаясь с боку на бок, грузовичок тронулся, ребят бросало от борта к борту, и наливать было неудобно. А очень хотелось добавить, поэтому ехали с остановками, временами стучали по кабине, просили на минуту притормозить машину, чтобы разлить по стаканам.

Еле успев к московскому поезду, втолкнули комсорга в вагон.

Почему он уехал? Может, устал? Может, жизнь взяла свое? Не век же бегать с седой головой по стройке, произносить проникновенные речи и пожимать работягам руки. Или, может, идеологические жрецы прослышали про его «закидоны» и решили отозвать секретаря от греха?

Я понятия не имел, что мне без Вербицкого делать.

Наконец, из Москвы прибыл новый человек.

Маленького роста, вежливый. Активу он сразу не понравился. Актив ошетинился. Я, видя это, даже сочувствовал новичку.

У приезжего была скучная фамилия — Малафеев. С ним приехала жена, дородная темноволосая казачка, привезла детишек. Чувствовалось, что новый секретарь собирается жить без палаточного энтузиазма, основательно. В своем кабинете он первым делом поставил на стол привезенный с собой фарфоровый бюстик Ленина. На стенах появились графики продвижения к «школе коммунистическо-

го хозяйствования», именно так он обозначил задачу. С бардаком предстояло расстаться. В такую «школу», по замыслу Малафеева, надо было превратить bestолковую стройку.

Всю зиму бесконечно заседали. Что делал я конкретно, спроси меня, я не отвечу. Но весь день крутился. Говорил по телефону, принимал посетителей. Самое удивительное, именно я должен был идеологически обеспечить чудесное преобразование стройки. Однако как это сделать, я не знал.

Я наблюдал разносы на планерках, слышал мат-перемат, который уже не резал уха, знал, что воровство стало привычным, а чудовищный дефицит всего и вся казался мне планетарным явлением — все это было обычным, неизбежным, как снег зимой.

Я удивлялся дисциплинированности Малафеева, которому, казалось, безразлично, есть ли здравый смысл в том, чем он занимается. В Москве сказали: езжай и делай. И он, как солдат, отправился выполнять приказ. Такой родную мать не пожалеет, себя изведет до язвы, всех замучает, семью угробит — но ради чего?

Какие-то фантомы, думал я. Нет, мне такая перспектива ни к чему.

Надо было принимать решение. Как часто бывает, помог случай.

В воскресенье весенним днем народ по поселку слонялся без дела. Пили пиво и вино, стояли группами на бульваре возле дома культуры. Казалось, все ожидали чего-то. На самом деле — просто убивали время.

Какие развлечения на стройке? Побродить да поддать. Потом еще добавить. Комсомольские мероприятия мало кого волновали. Стройка, как и страна, переживала не лучшие времена. Жили как в лагере, получали что-то вроде «пайки» — минимум необходимого человеку. Хотя никто не ощущал себя жителем зоны, никто не догадывался о своем истинном положении.

Покупали мясо, водку и хлеб. На закуску — трехлитровую банку зеленых маринованных помидоров. Нехитрые сладости к чаю. Набор скудный, но надежный.

Весной начались перебои с хлебом. И сам он становился все хуже, липкий и с чужеродными добавками. Народ зароптал, искренне возмущенный: как это так — перестали нормально кормить! А тут еще хлебные очереди. С них все и началось.

Детонатором послужила одна история.

Дружинники схватили пару пьяных парней. Притащили их в милицию. У тех, кто остался на свободе, выиграл справедливый гнев. По кучкам зевак прошла волна благородного возмущения. Любопытные стали подтягиваться к зданию, где помещалась поселковая милиция. Кто-то первым кинул в окно булыжник.

Когда я, узнав, прибежал на площадь, на бульварчике около милиции всю бушевал митинг. Стекла в окнах отделения были разбиты, внутри происходило что-то невероятное.

Я пробился сквозь толпу к крыльцу, на его бетонных ступенях, как на трибуне, стояли несколько парней и орали невообразимые для слуха слова.

— Бей милицию! — кричал один истошно. — Не бойся! Сейчас лагеря освобождаются. Бей дружинников!

Из темной пасти помещения милиции вдруг выволокли начальника отделения в разорванной форме. Его держали за руки сразу несколько человек, продолжая бить и пинать. Сорвав со стены стеклянную вывеску с надписью «Милиция», разбили ее о голову начальника, а его самого куда-то потащили.

Я огляделся, заметил несколько знакомых лиц. Люди сумрачно наблюдали за происходящим. А из толпы, которая все увеличивалась, выкрикивали одобрительное: «Давай!» — и матерились.

В голове моей была полная сумятица. Я не знал, какое принять решение, но чувствовал, надо что-то делать.

И тут вдруг у меня на глазах вслед за начальником милиции расправе подвергся безобидный пенсионер-старик, который обычно дежурил у входа, сидел на стуле на ступенях, в казенных галифе не по размеру, щуплый, так что галифе еле держались на высохшем теле. Когда стали его избивать, я бросился ему на помощь.

Так я оказался на парапете, на виду у толпы. Я видел море голов. Такого стечения народа не удавалось собрать даже Веньке Вербицкому, не к месту и не ко времени отметил я. Но размышлять, похоже, у меня не было времени.

Ошарашенные моей выходкой, люди на крыльце лишь пару секунд таращили на меня глаза, они отпустили старика, и тот сел без сил на бетонный пол. А я, не придумав ничего умнее, спросил стоявших рядом парней: «Что вы делаете?»

Вопрос прозвучал оскорбительно. Толпа завыла. Я видел: в первом ряду, в шаге от парапета, метались мальчишки-пэтэушники. Я знал, что их положение ужасно, их почти не кормили. И теперь эти разъяренные зверьки, корча рожки, тянули ко мне руки и вопили: «Дружинник!»

— Давай его сюда! — крикнул кто-то.

Я интуитивно отпрянул вглубь крыльца, наивно рассчитывая найти спасение у ораторов, но меня грубо оттолкнули.

А из толпы допрашивали:

— Кто такой?

— Андрей Лушин, — ответил я.

— Дружинник?

— Нет. Заместитель секретаря комитета комсомола стройки.

Я понял, что выношу приговор самому себе.

— А-а-а!!! — завывала толпа.

Пацаны заматались с новой силой, пытаюсь ухватить за ноги. Какое-то время мне удавалось отбиваться, наконец, двое пареньков повисли на моих ногах. Я упал. Трудно сказать, чем бы закончилась эта история, если бы чьи-то руки не поддержали меня за плечи. Кто это был, я так и не знаю по сей день. Да еще полуботинки, наскоро надетые на босу ногу, когда выбегал из дома, помогли, соскользнули с ног.

Я вырвался и позорно бежал, сверкая голыми пятками по весенней, еще стылой земле.

Так бесславно завершилась моя неудавшаяся карьера в комсомоле.

Кружным путем я вернулся домой. Оставив для Евы записку, в которой наказал ей оставаться дома,

я обулся в спортивные кеды, положил в карман увесистые клещи для возможного контакта с народом и опять отправился на площадь.

Теперь я не пытался пробиться в первые ряды, а наблюдал за происходящим, затерявшись в толпе.

Помещение милиции горело. Из окон валил дым. На верхних этажах в окнах в ужасе метались люди. Толпа угрюмо дышала. День заканчивался, наступали сумерки, однако народ не расходился. Подъехала пожарная машина, ее встретили веселыми криками, опрокинули. Пожарная команда под улюлюканье разбежалась. Русский бунт, который, как известно, бессмысленный и беспощадный, еще и веселый. Это народный театр, где каждый и зритель, и актер.

Из окон выбрасывали груды документов и тут же жгли их. В черном проеме появился с перекошенной физиономией человек, что-то прокричал, звал на помощь — то ли громить, то ли тушить пожар. Из окна летели стулья, обрывки оконных занавесок. На мгновение промелькнул портрет Ленина в раме — и тоже в огонь, в костер, разведенный перед окнами.

Стемнело. Народ стал скучать и потихоньку расходиться. К тому же голос парторга Федора Черного из репродуктора призывал коммунистов собраться у входа в дом культуры. Черный засел в радиорубке метрах в ста от здания милиции.

На призывы подтянулось десятка три-четыре, в основном разного рода начальство. Я остался в толпе.

Взявшись за руки, эта группа легко оттеснила зрителей, люди без сопротивления отступили вглубь бульвара, засаженного тоненькими моло-

дыми деревцами. Те, кто громил милицию, разбежались. Захваченными оказались двое пэтэушников, причем с поличным: украденным милицейским фотоаппаратом.

Постепенно мне открывались кое-какие небезытересные факты, связанные с происшествием.

Оказывается, были вызваны из города Сталинска три машины с дружинниками, но остановились при въезде в поселок, не рискнули продвинуться дальше.

Была попытка использовать армию, но вокруг Новокузнецка, как теперь называется Сталинск, никого, кроме ракетчиков, не было. Послали курсантов-связистов, поднятых по тревоге, те отправились на барже по Томи, но сели на мель. К счастью.

Часа в три ночи, когда все угасло и даже потухли костры, на стройку на самолете прилетел первый секретарь Кемеровского обкома партии. Событие случилось из ряда вон выходящее — присутствие «хозяина» было необходимо. Неизвестно откуда набежала-понаехала вся местная номенклатура. Как положено, собрали ночной актив. Забубнили о серьезности обстановки, стали разрабатывать безотлагательные меры. Героем дня, вернее ночи, был Федор Черный.

Когда в крошечной тьме пропала, как мираж, еще час назад бушевавшая толпа, я вдруг обнаружил, что все это время оставался совершенно один. Куда-то затерялись все комсомольские активисты, чьи лица поначалу еще мелькали в толпе. Я с удивлением оглядывался, но никого не мог найти из моих коллег и, в некотором смысле, подчиненных. Куда они подевались?

Где комсорги строительных управлений, механизированных колонн, автобаз? Где дружинники? Где вездесущий армянин Жора Айрапетян со своими подручными?

Это было странно.

Какое-то время я бродил в поредевшей толпе, прикрыв лицо для безопасности воротником куртки. Если быть до конца логичным, думал я, активу следовало бы находиться именно здесь.

И тогда, не мудрствуя лукаво, я отправился домой к новому секретарю комитета комсомола, чьим заместителем теперь являлся.

Малафеев жил тут же, поблизости, но не мог наблюдать происходящее, как теперь сказали бы, в режиме online: окна выходили на противоположную сторону. Но, конечно, был в курсе событий, и я в этом скоро убедился.

Когда после моих многочисленных и долгих звонков дверь приоткрылась, за спиной испуганной жены секретаря, в образовавшуюся щель, я увидел лица, полные тревоги.

Меня впустили, и я обнаружил в трех комнатах десятка два моих товарищей, которые, как оказалось, о моих подвигах были наслышаны.

Малафеев строго кивнул в знак приветствия, продолжая разговаривать по телефону. Мою самостоятельность он явно не одобрил. Вид его выражал крайнюю озабоченность человека, на плечи которого легла большая ответственность.

— Что вы тут делаете, братцы? — спросил я.

В среде актива все еще шли разговоры о разногласиях с приезжим комсомольским чиновником и ностальгически вспоминали Веню

Вербицкого. Пророчили, что с новым не сработаются.

Да какие у вас могут быть с ним разногласия, подумал я, вон как вы сбились в кучу в такую минуту?

В квартире от здоровых молодых мужчин было душно.

Я выбрался на улицу. С этой минуты я закурил удила и взял курс на расставание с запсибовским комсомолом. Такие разухабистые на пикниках, думал я, а проявили себя как трусливые коты. Нет, мне с ними не по пути. Значит, опять бежать?

Парторг Федор Черный попытался меня задержать. И опять, как и кадровик в Москве, сперва убеждал, сулил перспективы. Потом угрожал. Но что он мог сделать? Загнать за Можай? Сослать? Да куда же сошлешь дальше Сибири? А работягой я уже стал...

Я всю жизнь боялся замкнутых пространств, пещер, маленьких комнат, хотя и жил в такой долгое время, тайно радуясь тому, что она не мышеловка, у нее две двери. Мой сын, который в ту пору еще не родился, когда вырос, уезжал с рюкзаком на ночь куда-то под Москву, где есть старые выработки известняка, и там, в подземелье, совершенно один, забирался по узким проходам в щель наподобие гробика, и так спал до утра, вырабатывая характер, потом у них сколотилась компания таких же сумасшедших, оказывается, он был не одинок. Я же не выносил низких потолков и ограничивающих волю обстоятельств. Мне сразу хотелось выбраться на свободу.

Вот и теперь, слушая парторга, закипавшего желчью, я тупо смотрел в пол и настаивал на своем: отпустите.

А через пару недель, став безработным, я сидел рядом с Гошей Левченко на лавочке, грелся на солнышке на краю футбольного поля, которое мы именовали стадионом. Пили пиво из трехлитровой банки, и Гоша пополнял ее периодически из бочки неподалеку. Разговаривали о том о сем, когда вдруг увидели подъехавшую легковушку — это выездная редакция областной «молодежки» прикатила на Запсиб по своим журналистским делам.

В тот воскресный день моя жизнь, скажу с пафосом, жизнь Андрея Владимировича Лушина, который в тиши деревенской избенки, на склоне лет, сейчас предается воспоминаниям, сделала еще один серьезный поворот, хотя внешне мало что изменилось. Я остался жить на стройке, но теперь считался корреспондентом газеты и должен был для нее писать о том, что происходит вокруг, что попадает в мое поле зрения.

О таком можно было только мечтать. Правда, денег в редакции не было. Ни одной вакансии. Разве что «подчитчик», пятьдесят рублей в месяц, но кто же согласится?

Я посчитал, что это вполне сходная плата за свободу. Так я вернулся к уровню ученика каменщика, а Ева — к нищему бюджету. Изменился лишь масштаб цен: отменили сотни, ввели десятки.

Теперь в мои обязанности входило наблюдать за жизнью вокруг. Раньше я это делал в порядке самодеятельности, из любви к искусству, теперь за это платили деньги, пускай небольшие.

Впечатления обрушивались на меня подобно во-допаду.

Я прожил на стройке несколько лет. Перед глазами проплыло много народа: монтажники, прорабы, мальчишки-мастера и отпетые «бугры» уголовного вида, столовские тетки в засаленных халатах, местные проститутки, шорцы с выкрошившимися зубами, комсомольские сучки на слетах, наглые и развратные.

Иногда по долгу службы я заходил в общежитие. Прислушивался к разговорам.

— Опять по комсомольским путевкам пригнали? — спросила одна молодая женщина другую, кивнув в сторону новенькой, и указала рукой на койку: — На ту вон пусть ложится.

А другая, тоже старожил, молча подошла к стене и сняла клеенчатый коврик над койкой, пейзаж с лебедями, унесла с собой. Под ковриком на обнажившейся известке темнели бурые пятна от раздавленных клопов.

Новенькая стояла тут же, смотрела безразлично. В комнате был беспорядок, разбросанные женские вещи. Хозяйки, заметив мой взгляд, начали оправдываться:

— Раньше ребят пускали до десяти вечера, а теперь вообще не пускают. Живем как в монастыре. Не стесняемся, грязью заросли. Девки по коридорам в трусах ходят.

Я учился замечать такие сценки.

Вечерами на танцплощадке пары обнимали друг друга до полной сплюсненности. Такая была мода — положить подбородок симпатичной «машеньке» на плечо и дышать ей в ухо.

Но вот появились дружинники. Заорали на балбеса:

— Что танцуешь?

— Липси.

— А-а, стилияга, да?

Суровы были нравы на комсомольской стройке. Теперь я стал свободным человеком, а кто-то другой устанавливал, что можно танцевать, а чего нельзя. За соблюдением правил следил безумный армянин Жора Айрапетян, командир комсомольского оперативного отряда, и наводил ужас по вечерам на весь Запсиб. Провинившихся утаскивали в каморку и там избивали. А ведь Айрапетян был среди ближнего окружения Вени Вербицкого, считался его доверенным лицом, можно сказать оруженосцем. Смотрел ему по-собачьи в глаза, готов был за Веньку любому пасть порвать. Днем он работал машинистом экскаватора, а вечерами крутился возле легендарного комсорга, выполнял мелкие бытовые поручения, но ближе к ночи превращался в грозного блюстителя нравственности, скорого на расправу, обшаривал злчные места стройки.

Все это, как в кино, кадр за кадром, отпечатывалось в моем сознании. Иногда я записывал услышанные фразы.

«Спина — за день не обцелуешь!»

Или, например, о женщине: «Тарахтит, как старая полуторка».

Мне казалось, что я собираю материал для будущей книги. Я придумывал сюжеты, коллекционировал в записных книжках все оригинальное.

Город Новокузнецк, под боком которого прилеплась стройка, заказал в другом городе, в Липецке, чугунные решетки для заборов. Почему? Ведь свой металлургический комбинат — Кузнецкий — под боком!

Или вдруг на стройку, в далекую Сибирь, пришел по разнарядке памятник Суворову. Какое отношение имел к глухой тайге, где строился Запсиб, генералиссимус? Но ведь привезли — исполненного из гипса артелью инвалидов.

Я пометил в блокноте: «Появился ресторан «Тополь», а неподалеку вытрезвитель «Камыш».

И каждое утро Ева будила меня одними и теми же словами: «Кашку сварить? Манную не хочешь, да?»

За стеной нашей квартиры, которую, надо сказать, мы получили довольно быстро, за те несколько месяцев, что я подвизался в комсомоле, а когда ушел, ее не отняли, — бухгалтер Леня обмывал годовой отчет. Ева работала во вторую смену, она поступила в местный металлургический институт и теперь служила в нарождающемся доменном производстве.

Я съел кашку, к которой был приучен, вышел на улицу. Спешить мне было некуда, мое рабочее место — дом родной и вот эта улица. И вообще все вокруг. Я выпил из бочки сухого вина, которым торговали два грузина. Зашел к знакомым ребятам в общежитие.

В комнате было тесно. Посреди стоял разобранный мотороллер. Все галдели.

Один крикнул другому:

— Ну ты, лопух, не мешай мне в университет готовиться!

Другой ответил:

— Все читаешь древних греков? Лучше бы пятки помыл.

На полу рядом с мотороллером стоял таз, в него кидали окурки.

Поговорив о том о сем, я опять вернулся на улицу, и около клуба встретил заведующего, маленького роста мужичка по фамилии Бреев, и услышал от него, что русский человек все-таки понимает толк в искусстве.

— Привезли нам японский фильм «Гольф остров», — пояснил свою мысль Бреев. — Так люди посидят пятнадцать минут и уходят. Потому что зачем же столько раз показывать, как японцы носят воду? — возмутился он. — Достаточно трех раз!

— Ты уверен?

— Вполне хватит.

Я купил билет. Действительно, зрители ворчали, смеялись, грызли семечки, плевали на пол, а когда корм заканчивался, многие уходили.

На проспекте Красной Армии, на бульваре, где недавно стояла толпа и горела милиция, теперь мирно брэнчала гитара, били в бубен и ныла гармошка. Голодные голоса орали песню. Народ валил на звуки импровизированного оркестра.

— Девки чтой-та ни даю-ца!.. — кричал певец.

Я бесцельно бродил день за днем, писал заметки в газету, но на душе оставалось тоскливо. Ева уехала в Москву, вернется ли? В новой квартире, недавно полученной, было пусто, как на японском острове. Я принес с бульвара садовую скамейку и спал на ней. Одиночество не способствовало творчеству. Я почти машинально заносил в записную книжку то, что видел и слышал, но мир, окружавший меня, все больше меня раздражал. Вот, думал я, перл, достойный эпохи! Комендант общежития, немолодая дама, сказала работяге: «Давай военный билет за простынь!» — мол, в качестве залога.

Ну и что? — подумал я. — Что я сделаю с этим сырьем? Да мне даже слышать это тошно!

В общежитии, в красном уголке, как обычно, фикус и тут же, в углу, зеркало, а посреди комнаты — стол с подшивками газет. На стене — список актива и обязательство коммунистической бригады. Каждый — подписчик, каждый — член профсоюза, каждый — дружинник, каждому следует посадить три деревца, и, конечно, каждый должен быть охвачен хотя бы одной формой учебы... И здесь же стенд «Им жить при коммунизме» — много-много детских головок.

Меня не покидало уныние, как при затяжной зубной боли. И я понимал паренька, который сказал мне: «Если я еще год здесь пробуду, меня дома не пропишут».

Наш разговор услышал его дружок и засмеялся:

— Ничего! Помрешь, в Сибири закопаем.

И стал рассказывать о своей проблеме.

— Слушай, у нас к одному жена приехала, а койки в общежитии рядом. Аж голова кружится. Не могу!

Не знаю, чем бы все эти мои рейды закончились. Они напоминали блуждание маленькой шлюпки, по днищу которой бьет волна, а в борт дует переменчивый ветер. И ни руля, ни весел. И даже представлений, в какую сторону плыть, тоже нет.

Но мои заметки, как ни странно, печатали в газете. Они даже вызывали среди коллег споры, и когда я приезжал изредка в город Кемерово, где помещалась редакция, меня принимали, как провинциального «хемингуэя», мы выпивали, ходили по дешевым ресторанам, местные девы не прочь были со мной закрутить роман. Начальство говори-

ло, что меня ценит, но денег по-прежнему не платило, только тот минимум, который полагался «подчитчику».

И вдруг из Москвы пришла разнарядка — одно место на курсы повышения журналистской квалификации, то есть ехать в ЦКШ — центральную комсомольскую школу — и прозябать там, бездельничая в красивой загородной резиденции, аж одиннадцать месяцев, причем со стипендией.

Самое интересное, что обстоятельства в редакции сложились так, что свободных стрелков в тот момент не оказалось, каждый был при деле, при своих заботах, лишь я неприкаян в ожидании, когда появится вакантная ставка.

И вот она появилась — почти на год.

Не знаю, научила ли меня чему-нибудь эта школа в смысле профессиональных навыков — к нам приезжали какие-то знатные правдисты, рассказывали о своей работе, литературные редакторы приводили примеры правильного стиля, — эта сторона учебного процесса мало запомнилась, а вот окольная жизнь оказалась любопытной. В школе пребывало много иностранцев, черные парни из Африки, будущие диктаторы, вроде Менгисту Мариама, надев китайское теплое белье «Дружба», которое тогда повсюду продавалось в московских магазинах, катались в нем по парку на лыжах, приняв это белье за спортивные костюмы. Вместе со мной жил исландец Ульвур Хиорвар, не собиравшийся никого свергать в своей стране, нормальный стилиста и поддавоха из Рейкьявика, где у него осталась девица, дочка генерального прокурора, и он,

попав в Москву, прогуливал лекции, как и я свои, и единственное, что не вписывалось в образ молодого безыдейного карьериста, это то, что он был как две капли воды похож на молодого Ульянова-Ленина, в смысле внешне. В Москве на нас с ним показывали пальцем, на демонстрации выдернули из колонны и проверили документы. В Суриковском училище, в общежитие которого мы иногда наведывались к знакомым, его использовали как модель. Еще среди достопримечательностей школы были первая жена Роберта Рождественского и будущий драматург Вампилов, скромный паренек из Иркутска с внешностью бурята.

Каждый искал себе развлечения сам. Ульвур сосредоточился на переводчицах, среди которых были в высшей степени достойные внимания. У меня же была Ева, и я раз в неделю навещал ее, жившую у родителей в Измайлово. Там, в общей комнате барака, который, конечно, баракком не называли, прижатый к стенке дивана, под тяжелое сопение ее мачехи, добрейшей души женщины, кормившей меня кубанским борщом, и был зачат наш сын.

Это было зимой 61—62-го года, атмосферу которой для меня лучше всего выражает облик большой аудитории Политехнического музея. Именно там я провел немало вечеров, слушая Беллу Ахмадулину, Андрея Вознесенского, Евгения Евтушенко. Лирик Анатолий Поперечный завывал: «Ребята, ребята, ребята... кручина, кручина, кручина...» Он кокетливо начинал: «Стихотворение посвящается Светлане, а какой — не скажу!» Но главное, конечно, — политический подтекст, присутствовавший, как казалось мне, во всем, что произносилось со

сцены, когда даже Алексей Сурков позволял себе смелость, говоря: «Я не буду комментировать то, что происходит на съезде, учитывая вашу природную сообразительность...» — и многозначительно молчал с минуту, и я, сидевший в раковине аудитории, делал вид, что понимаю его. И переглядывался заговорщически с соседями, улыбаясь.

Было вдоволь истошности, надрыва и наивности.

— А мне просто хочется жить! — кричала девочка с прядью, зачесанной назад, как у Крупской, наверное, отличница и девственница. — Я родилась, поэтому я уже счастлива.

Шел диспут о счастье, о любви.

— Ваша цель в жизни? — ехидно спросил ее парень, длинноволосый, как Махно.

— Быть человеком! — без запинки, как урок, ответила девочка.

— А что хуже: пьянство или увлечение западной модой?

— Пьянство.

— А что такое скромность?

— Сделал хорошее и помалкивай... Островского читаю и хочу понять: действительно ли уйду из жизни без дела?

— А я не хочу жить с драмой, — сказал длинноволосый. — Можно ли уйти без драмы? — обратился он с вопросом к залу.

Зал загудел. Зал отреагировал остро: как же можно «уходить без драмы»? Это же верх мещанства!

Кажется, в этот момент мне постучали по плечу и передали, как я понял, записку в президиум. Она не была сложена пополам. На открытом, довольно

большом листе крупными буквами шел текст, не заинтересоваться которым было невозможно. Там было написано, что все мы тут болваны, а Хрущев с его съездом всего лишь морочат народу голову.

Я соображал, что делать. Передать ее дальше — попадет к стукачам, мы прекрасно знали, что их тут не мало. Я говорю «мы», потому что к тому времени я уже вошел в круг тех, кто готовил диспуты, мне нравилась атмосфера их «кухни», и, конечно, в нашей среде мы кое-что уже понимали и ждали, что нас вот-вот закроют. А после такой листовки, попади она в руки «чекистов», это случится наверняка, решил я и спрятал листок в карман.

После диспута я передал его членам штаба, как своим, как заговорщикам.

Каково же было мое удивление, когда через две недели, выбравшись из Вешняков опять в Москву, в Политехнический, я узнал, что штаб распущен и диспуты прекращены. А еще через некоторое время меня выдернули с занятий к ректору курсов, нашей синекуры, для беседы с неким товарищем, специально приехавшим повидаться со мной. «Кто? — спросил он. — Кто конкретно передал записочку?»

Слава Богу, мне нечего было скрывать, я никого не запомнил.

— А кто еще ее читал в зале?

— До меня? Понятия не имею!

С грустным чувством я возвращался в Сибирь. Ульвур уехал в Исландию к своей прокурорской дочке, Менгисту Мариам — в Эфиопию, свергать императора-генералиссимуса, лавочку в Политехническом прикрыли и я, по наивности, имел к этому

отношение: может быть, надо было спрятать эту записку, не отдавать ее в штаб, где тоже были свои стукачи, а сжевать ее, съесть? Не умер бы.

Нет, что-то не так идет в жизни, думал я. Где опора, где кумиры? Зачем я опять бросаю одинокую мать и тещу беременную Еву за собой ради какого-то эфемерного счастья среди странных людей.

Журналистская работа в «молодежке» требовала разъездов по Кузбассу — я продержался два месяца, Еву нельзя было оставлять одну. Друзья из многотиражки предложили: «Иди к нам». Так я опять оказался и при деле, и около дома. Иногда я погружался в родную монтажную бригаду, на полгода или даже на год. Меня принимали охотно, как своего, я все-таки кое-чему научился. «Может быть, я летун?» — думал я. В конце концов смирился с этим. Но всегда находился какой-нибудь повод, почему не уйти было нельзя.

Помню, в редакцию «Металлургстроя» — так называлась многотиражка — назначили партийного куратора по фамилии Шамин. Это был функционер невысокого ранга, который жаждал поля деятельности, он стал приезжать в типографию и читать номер.

— Запятую надо убрать, — говорил он, изводя меня. И медленно сверял слово за словом:

— «...пристрастен ко всем явлениям жизни. Пристрастен... Как это понимать?

Я объяснил.

Через минуту Шамин опять прицепился.

— Тут у вас написано: «Тяготы...» Что это такое?

— Это трудности.

— Нет! Это не трудности. Тяготы — это не трудности, — Шамин старался уличить нас в идеологической диверсии. — Я, например, не чувствую тягот. Я чувствую удовлетворение!

И приказал:

— Выкиньте!

Я вычеркнул слово. Но меня задевали такие придирки, я сопротивлялся и придумывал на ходу:

— Нельзя выкидывать. Это «Известия». Мы статью из «Известий» перепечатаваем...

Шамин сдавался.

— Ну, тогда... конечно.

Однако все чаще верх одерживал именно он. Наступили крутые времена. В Москве Ильичев произнес свой знаменитый доклад, и когда волна идеологических погромов докатилась до Сибири, там принялись, как шпионов, отлавливать абстракционистов. Да где же их взять? И вот на областном партактиве уже докладывали: «Вчера в городе металлургов Новокузнецке было покончено с последним абстракционистом...»

Но я-то знал подноготную. На Запсибе разыскали художника, работавшего в доме культуры у Бревева, тот писал объявления о фильмах и иногда со скуки пририсовывал что-нибудь по своей инициативе. Пригляделись: что-то не наше! Выгнали с работы и отрапортовали.

Поэтому Шамин был на коне. И требовал пояснений ко всякой подозрительной фразе.

— А что это: «...сердце отдать временам на разрыв»? Или вот: «Народ они крутой, на слово крепкий». Извините! Народ у нас не «крутой», а великий и героический.

Мне казалось, что я схожу с ума. Этот кастрат с бабьим лицом меня достал. Но как-то все-таки мы с ним управлялись, то соглашались, то отшучивались, то дурили. Но с каждым днем становилось все более тошно.

— Ну как? — спросил Шамина редактор газеты, бывший морячок Бобров. — Будем травить китайцев?

— А другие газеты? — растерялся Шамин.

— «Правда» дала.

— А «Кузнецкий рабочий»? — поинтересовался Шамин на всякий случай.

— Не успели, — вздохнул Бобров. — И мы можем запросто вставить им пистон!

Через какое-то время Шамин опять прицепился.

— А что это у вас за Стендаль? — спросил он грозно, сделав ударение на первом слоге. — Кого это вы тут цитируете?

Владимир Леонович, мой коллега по работе в многотиражке, наш первый поэт, оттеснивший меня на этой ниве, картинно принял позу римского трибуна и, ощущая себя жертвой политических репрессий, произнес:

— Это не Стендаль, а Фредерик Стендаль, французский поэт. И, с вашего позволения, классик. Он давно умер.

— Все равно незачем, — не сдавался Шамин. — У нас своих хватает!

Как-то к празднику газета решила рассказать о тех, кто только что вступил в партию. Среди прочих в поле зрения случайно попала кассирша из стройуправления, выдававшая зарплату.

— В такой день — о кассирше? Что у нас, некого принимать в партию?

— Так это вы ее приняли! — парировал Бобров.

Он сидел в тельняшке, обтягивающей широкую грудь, и был человеком прямым, из народа.

— Вы же ее приняли, — повторил Бобров, сморщив сократовский лоб.

— Неважно! — рассердился Шамин. — Все равно писать об этом нежелательно. Надо показать, что в партию идут рабочие. У нас же тут стройка. А то взяли какого-то расчистчика... Вы еще молодые, не знаете, а мы прежде интеллигенцию вообще в партию не принимали. Вызывали секретаря парторганизации и прямо говорили: «Не принимать!» А если кто и подавал заявление, мы его культурно разворачивали... А вы — кассиршу!

Я слушал и думал: не успев насладиться романтикой сибирской земли, я опять по уши в дерьме. Стоило ли совершать побег за таким глотком свободы?

Летом моряк Бобров отправился в отпуск, а я остался его замещать.

Собрали очередной номер «Металлургстроя». В типографию его повез Владимир Леонович, и это было справедливо — полномера занимала его статья. Леонович написал о Маяковском, чей юбилей как раз отмечался. Что он написал о нем, я не знал, произведения друг друга мы заранее не читали, а прочитывали уже в вышедшем номере.

Собственно говоря, если бы я и прочитал «до того», ничего бы не изменилось в жизни, ни у Леоновича, ни у меня.

А что же было в статье?

В ней Леонович написал о тех, кто травил Маяковского. Цитировал стихи Евтушенко, чье имя

было под запретом, и проводил прозрачные параллели: преступные действия по отношению к большим поэтам совершаются и сегодня.

И всю неделю маленькая сибирская многотиражка публиковала статьи из номера в номер, содержание которых было не в духе времени.

Нам дали выговориться.

Наконец, городская партийная газета обрушилась на нас. Назвала Леоновича «премудрым теоретиком», а редакцию «Металлургстроя» обвинила в использовании юбилея Маяковского для защиты Евгения Евтушенко, «...печально известного своим недавним грехопадением».

Имелась в виду «позорная», как выразился партийный критик, «Автобиография рано созревшего человека».

Леоновича обвинили в том, что он выплеснул наружу то, что «...усердно хранил на задворках души».

«Струсил высказать прямо на недавнем совещании творческой интеллигенции города, воспользовался нетребовательностью приятелей, — это камень в мой огород, понимал я, — и теперь позволил себе высокопарно вещать о каком-то творческом одиночестве великого советского поэта, о какой-то революции духа».

И уже совершенно недопустимо, считала городская партийная газета, объявлять «узким местом» такое понятие из Программы партии, как воспитание нового человека. А именно это сделал Леонович! Да еще допустил связь между Маяковским и Иисусом Христом!

Тут я, по правде говоря, согласился бы с критиком. Да чего не скажешь в запале!

И самое главное: Леонович позволил себе, по мнению газеты, вопиющую бестактность. Он «...подбоченясь, разглагольствовал насчет сложного вопроса об отношении Ленина к творчеству Маяковского!»

Это уже слишком! — понял я. Ильич — святое.

Посыпались оплеухи.

Провели на стройке выездное бюро горкома партии для показательного разноса.

Шамину, незадачливому куратору, поставили «на вид».

Неприкасаемому парторгу Федору Черному было «указано».

Подняли Леоновича. Но из президиума заметили его боевой вид: явно жаждет высказаться. Посовещались, склоняя головы друг к другу, и решили, что эта беспартийная сволочь может испортить им обедню, не дали ему слова, посадили на место, а подняли меня.

К тому времени я, конечно, статью прочитал. Мы уже поспорили с моим новым другом насчет некоторых пассажиров. У него и Белинский, и Чернышевский, и Ленин, и Блок — были «...бережны в отношении к своей душе, чисты в своих принципах... глухи к мелкостям бытия и мнениям черни».

И Маяковский у него был с жизнью в расчете, был затравлен, оклеветан и расстрелян врагами коммунизма.

И с Пастернаком Леонович не был согласен, а считал, что агитки РОСТА и Моссельпрома написаны Маяковским искренне, а не «в услужение» партии.

«Партии и поэзии нужны солдаты, а не услужливые простаки», — написал Леонович в своей статье.

А незадолго перед этим он посвятил мне стихотворение, где были такие слова:

*Неблагодаримы —
как вызов,
как выстрел —
рылеевцы,
писаревцы,
коммунисты...*

Это для него был один ряд.

Но партийного критика не проведешь. Тем более что в статье имелись прозрачные намеки насчет какой-то «революции духа».

Леонович писал: «...чтобы она победила, потребуетя переделать социальный мир. Все препоны на этом пути уже осознаны, осуждены и приговорены. Остается только моральную гибель их сделать реальной».

Вот, значит, куда заносит!

Я стоял в задних рядах актива, собранного по случаю выездного бюро горкома, вспоминал. До меня донеслось:

— Так вы, значит, не читали статьи? Как же вы могли подписать ее в печать?

Я пожал плечами.

— Ну, а теперь-то прочитали? И что?

— Вообще говоря, я с нею согласен.

Ах, согласен?

К тому времени я был уже «в рядах», а значит был их собственностью. Прибывшие из города начали с удовольствием высказываться, один за другим, а зал гудел, с ближних стульев ко мне тянулись

руки, словно пытались ухватить, как это уже однажды было на площади, когда громили милицию. Я слышал шипение и ругательства, это номенклатура стройки демонстрировала президиуму свое рвение.

Мне объявили выговор, и я с чистым сердцем, на зиму глядя, опять ушел в бригаду. Стройка, как нечто возвышенное, перестала меня занимать. Окружающая жизнь казалась все более пресной, провинциальной и бессмысленной. К чему столько метаний? Сплошная головная боль для близких людей. Мать собирала коробки посылок, их отправляли и родители Евы, бесчисленное множество. Зачем все это? Не прав ли товарищ, оставшийся в Москве, не пожелавший растрачивать попусту столько усилий? Что я узнал такого на сибирской стройке, чего не открыл бы для себя вблизи от дома? Все труднее становилось убеждать себя в том, что хождение в народ протекает не без пользы. Стройка вокруг все меньше напоминала романтическую мечту, все больше превращалась в тривиальную рабочую слободку, где занудство советской действительности было то же самое, что и в столице, только гаже. «Где республика?» — немо взывал я.

Наш эксперимент, как и следовало ожидать, провалился. Вербицкий, едва не спившись, покинул стройку. Гоша Левченко заперся в доме, принялся поспешно формировать свое литературное лицо, улыбочное, рабоче-партийное и соцреалистическое. Происходило уничтожение возведенного в моем воображении замка. То бунт — с огнем и мордобоем, то аварии одна за другой. То сад, о котором я хлопотал, стирали с лица земли буль-

дозерами. То художников гоняли взащей. То нас, журналистов.

— Жить надо без трепа, — сказал однажды прораб Тарасенко.

Но без «трепа» не получалось.

Учительница Эрастова обнаружила в трех километрах от стройки, в заброшенной деревеньке, где с незапамятных времен жили бок о бок русские и телеуты, вымирающий народец, парализованную девочку. Русские, все как один, носили фамилию Поросенковы, а телеуты — Каргачаковы. Девочку звали Аня, и она была записана как Каргачакова. Рядом грохотала великая стройка, ключом била жизнь, а в жалком домишке лежал без движения подросток, не учился, не знал большого счастья, и это так поразило впечатлительную учительницу, что она тут же помчалась в местную редакцию и рассказала обо всем Леоновичу, чьи стихи очень любила. Трудно было выбрать более подходящего человека для раскручивания нового комсомольского почина. Гуманист, не способный обидеть муравья, писавший на полном серьезе: «...если негра убивают в Алабаме, то я к убийству этому причастен», — он понял, что судьба неспроста предпосылает Аню в его руки.

Сколько он о ней писал! Как могуче раскачивал тяжелый язык колокола — народной записибовской щедрости. Ходил в бригады, рассказывал, читал стихи, убеждал, приводил нетленные примеры и добился: шоферы автобазы взялись над Аней шефствовать. И заработанные на воскреснике деньги передали в редакцию для покупки путевки в Крым, в Саки.

Это был красивый почин, возможно, лучшая записибовская легенда. Школьники приходили к Ане вместе с учительницей, девочку зачислили в школу, а колокол все звонил, редкий номер обходился без заметки на эту тему, уже и центральные газеты разведали о таинственной находке под боком у комсомольской стройки, все новые трудовые коллективы желали приобщиться к шефству. А обездвиженное дитя все так же безнадежно сидело в постели с подушкой за спиной, но теперь демонстрировало нравственное здоровье нашей молодежи, Аню упоминали в докладах и комсомольские, и партийные секретари. Теперь она жила в новой квартире, предоставленной для пользы дела, и привыкла каждый год ездить в санаторий, а когда путевку задерживали, обиженно надувала губы. Сменялись комсомольские секретари, передавая телеутку, как эстафетную палочку. Принимаясь хлопотать, новые люди все меньше понимали, почему они должны убеждать преподавателей бесплатно учить подрастающую девочку, а втянутые в процесс студенты и педагоги вуза все меньше находили в своей душе отклика. Наконец, волна энтузиазма окончательно опала, и Аня превратилась в откровенную «нагрузку» и стала обузой.

Леонович негодовал. Он писал в газету гневные «письма» Записибу, но воспитательный почин окончательно увял. Много лет спустя, когда Ане было за тридцать, я оказался на Записибе, навещал старых друзей. Аня жила в той же квартирке. Полулежа, она вязала шерстяные шапочки, этот промысел давал добавок к пенсии. В тот раз делала особую работу, вязала для жены очередного комсомоль-

ского секретаря не ради денег, а рассчитывала, что жена замолвит за нее словечко, может быть, помогут с путевкой или какой-нибудь ссудой. Мать ее умерла, а собственная жизнь не сложилась. Ее полюбил рабочий паренек, носил ее на руках — и в буквальном смысле тоже. Попивал, конечно, горькую. И однажды разбил ее инвалидный «запорожец». Соседи накачали: «Не оставляй так! Пусть заплатит!» В итоге — свое вернула, а мужа потеряла.

— Своими руками уpekла в тюрьму, — сказала Аня и вздохнула: — Все было... Почин был. А теперь бросили. — И пошарила рукой за кроватью, достала бутылочку, уже початую.

Возвратившись в бригаду, я оказался в мире без рампы и софитов.

Бригадир Штернев, который когда-то кричал на меня, что я нахлебник, не способный сам себя обработать, встретил меня как старого знакомого. Пожаловался: ничего нет, ни шлангов для бензорезов, ни рукавиц...

В первый же день я стал свидетелем сцены: Штернев до хрипоты спорил с мастером Марком Хиславским, закрывая вместе с ним наряды. Пытался выцыганить лишнюю копейку.

Ничего не изменилось. Бригадир по-прежнему нянька для бригады. Вечно в движении, все время что-то воровал, тащил в будку, кряхтя, жалуясь на старые кости. Кому-то мимоходом помогал, что-то подтаскивал. И без конца орал благим матом. С виду бестолковый, суматошный, он все отлично знал, был в курсе, где разбросаны многочисленные звенья его бригады, чем заняты, постоянно менял

людей местами, как полководец, одних направлял туда, других возвращал, манипулировал, отлаивался на лай, колдовал, но к концу месяца наскреб в самый мертвый сезон «на молочишко», как он выразился.

Жердеобразный, с изможденным, красным от холода и водки, помятым лицом, похожим на заброшенную скворешню, с маленькими хитрыми и злыми глазками и темным провалом рта с двумя рядами стальных зубов — у него и кличка была: Костыль.

Когда в бригаде появлялся корреспондент, да еще с фотоаппаратом, Штернева отодвигали в сторону.

Бригада, в которой я работал, никогда ни с кем не соревновалась. За нее это делали в конторе, сравнивая наши цифры с цифрами других бригад, а я и мои товарищи просто зарабатывали себе на жизнь, стремясь еще и приписать кое-что. Костыль был мастер по этой части.

В один из дней особенно ладилась работа. За ночь перекрыли плитами большую бойлерную. И через несколько дней бригаде сообщили, что по итогам соревнования ей присуждено первое место и даже переходящее красное знамя.

Бригада отреагировала безразлично. Мне же, заведенному всей предыдущей запсибовской гонкой, показалось, что такое событие надо отметить не банальной пьянкой, а как-то возвышенно.

Столько работаем вместе и ни разу не собирались в домашней обстановке. Все на ходу — по стану... и разошлись.

Я сказал, что квартира есть.

— Соберемся у меня.

Пришли прямо с работы, заглянув по пути в магазин.

В прихожей сбросили брезентухи, разулись, раскидали портянки.

Ева смотрела на нас, улыбаясь.

Увидев Еву, монтажники растерялись. Она была так красива, а тут еще принарядилась.

Петро Штернев чуть не умер со страху, заворчал, что все это зря, надо было раздавить по-быстрому где-нибудь в подъезде и — по домам.

Комната наполнилась запахом пота и бензина. Кто-то сунулся к полке с книгами, дотронулся до корешка рукой, Штернев гаркнул: «Положь!»

Толпились вокруг стола посреди комнаты.

Наконец, сели. Стаканов на всех не хватило. Костыль налил себе в пустую консервную банку.

После второго стакана пошел треп о жизни.

Кричали: «Фенстер — гад!»

Фенстер — это начальник управления.

Костыль кривлялся, говорил, обращаясь ко мне: «Я знаю, ты меня не уважаешь».

Потом пристал к сварщику Гордиенко:

— Опять ты вчера грелся на солнце! Кепку на глаза надвинул, падло, и лежит...

Костыль поворачивался то к одному, то к другому, ища сочувствия. Упал на тахту, показывая, как лежал Гордиенко на балке на десятиметровой высоте.

— Я его пнул ногой, он даже не пододвинулся. Я ему говорю: «Уйди хоть с высоты, скройся куда-нибудь и лежи». Так нет! Ему надо на балке... Я на фронте «тридцатьчетверку» водил. У меня нога

сломана в Темиртау. Я монтажник! А он кто? Сопляк! И передо мною лежит...

Гордиенко, добродушный балагур и охотник, молча улыбался.

Костыль какое-то время еще кипятился, но его плохо слушали. Разговор раскололся, потек по углам. Каждый наливал себе сам.

— А я женился, — признался тихий Коля Мунгин, лопухий, как зайчик, которого мечтает этой зимой подстрелить Гордиенко. — Она посуду в столовой моет.

Вот и я мыл на кухне посуду.

Ева убирала со стола.

Нужно им это зная, как негру валенки, рассуждал я. Но посидели нормально. Странно, думал я, что Вербицкий не тронулся умом с этими его закидонами. Бочки с квасом доставлял в карьер, руки по ночам бегал пожимать... Его преемник Малафеев, тихий и незлобивый человек, сделал первый робкий шаг по разрушению мифа, но тут же сам нагородил, всю стройку заселил «штабами», завесил стены графиками и диаграммами, пообещав кому-то в Москве превратить Запсиб в «стройку коммунистического сознания».

Ни шагу без этих хоругвей. Мы никогда не научимся жить без трепа.

Я закончил хлопотать на кухне, и вернулся в комнату, и, к удивлению своему, обнаружил в углу тахты привалившегося, то ли задремавшего, то ли задумавшегося, моего бригадира.

Все разошлись, а Костыля забыли. И Ева ничего не сказала. Ну, вздремнул человек, чего особенного.

Штернев востепенелся. Как ни в чем не бывало, потянулся за бутылкой, которую Ева предусмотрительно не убрала. И тарелка стояла, и кое-что из закуски.

— Знаю, осуждаешь меня, пью, — произнес Костыль, обращаясь ко мне. Проигнорировав взметнувшиеся в удивлении мои брови, он сказал: — Да, пью! Но и горблю.

Костыль осмотрел стол, отыскивая стакан для меня.

Я не стал усложнять ситуацию, сходил на кухню и, пожав плечами, взял из рук Евы ее чистую крошечную рюмочку.

Вернулся, поставил рядом со стаканом бригадира.

Штернев повел мутноватым взором.

— Что жизнь делает с людьми... — вздохнул он. Прицелившись, плеснул мне, не пролив лишней капли. — Ну, ладно, поехали... Крестная сила и обехеэсес! — И выпил, обильно смочив губы.

Разговор пошел совсем пьяный.

Бугор поднял глаза, обвел невидящими глазами комнату, не понимая, где он. Решил, что он в ресторане.

— Ладно, у меня гроши есть, я заплачу.

Он внушал мне:

— Монтаж — тяжелое дело. Чуть что, упал! Я убьюсь, обо мне некому плакать.

— Брось, Петро!.. У тебя сын есть. Дочь.

— А-а... Приемная... Но я ее люблю. Говорю: «Галка, на тебе деньги, пойдди возьми одну». Она идет и приносит две бутылки. Понимает!

На седой голове Костыля хохолочек. Рубаха расстегнута, видна грудь.

Костыль достал старый клеенчатый бумажник, набитый документами, стал вытаскивать справки о заработках, показал удостоверение монтажника.

— Вот он, шестой разряд. Мой родной!.. Шеф, — позвал Костыль, все еще считая, что мы с ним в ресторане. — Шеф, керосину! — и погладил себя пальцами по шее.

Я попытался успокоить его, но Костыль заупрямился.

— Я пью, но я и кормлю! — опять он завел свою пластинку и в десятый раз показал свою сломанную ногу, завернув штанину. — Темиртау ебучая! — выругался он, объясняя, где это произошло. Все это я уже слышал. — Семь месяцев на костылях... Останься, говорили мне, но я не остался, поехал сюда, на этот ваш Запсиб. Приехал, сказал: «Я раб божий, батрак, у меня ловить нечего, пять классов образования». Но я на фронте воевал танкистом. Скажи, Андрей, — заплакал Костыль, — за что Фенстер меня снять хочет? Понимаю, за нее, подлюку, — указал он на пустую бутылку. — Сейчас пойддем, Андрей, сейчас...

— Петро! — сказал вдруг я. — Ты прожил жизнь. Скажи, что самое главное для человека?

Штернев посмотрел на меня внимательно, будто только сейчас осознал, где он.

— Главное? — переспросил он. — Главное, Андрей, семья.

Я спустился проводить бригадира.

Прощались, покачиваясь на ветру. Штернев приваливался к моему плечу.

Спросил:

— Ну ты понял теперь, что такое монтаж?

Я кивнул.

— Когда мне предложили взять тебя, я не хотел. Сказал: «Какой он, хер, монтажник? У него высшее образование!» А Фенстер мне объяснил: возьми его, он нам пригодится. А я ему: «Ты коммунист, ты и бери!» Вот так было, Андрей Лушин. Но я тебя взял!

И Штернев полез целовать меня по русскому обычаю.

Семья моя состояла из меня самого, среднего роста мускулистого мужчины, не прибавлявшего в весе, хотя возраст приблизился к тридцати годам. Человек я был эгоистично сосредоточенный на собственной литературно-журналистской карьере. Если, конечно, карьеру понимать не как продвижение по служебной лестнице, а как судьбу.

Еще в моей семье была очень красивая молодая самочка по имени Ева, в жилах которой смешались кровь кубанских казаков и, может быть, действительно турецкая кровь, уж больно хороши были раскосые карие глаза под разлетом тонких, летящих птицами бровей, да и фигура молодой женщины уже не напоминала изящного скворца, стреляющего глазками, такой я обнаружил Еву в качестве сестры другой кубаночки, за которой ухаживал мой школьный дружок, тот самый, оставшийся в Москве и не пожелавший катить в Сибирь «за туманом», — оба мы в конце концов оседлали своих кобылиц.

Семья включала еще сыночка, которого Бог послал.

Глупые юноши, если уж вы женитесь на красивых девочках, то не тащите их за собою в боевые

походы. Не позволяйте им участвовать в мужских посиделках, хлопать близорукими глазками, отчего взгляд женщины воспринимается двусмысленно и тревожит мужскую плоть. Ева буквально купалась во всеобщем внимании. Вступая в разговор, порою невпопад, она компенсировала неудачи своим очарованием, пьяня мужиков. Накрутив платок от пыли по сибирской моде, в ладной курточке, она прыгала с кочки на кочку милой и доступной мастерицей. За нею всегда, в качестве эскорта, следовали две-три глуповатых подружки. Ева их защищала от моих нападков, а меня называла нелюдимым человеком.

Когда она поступила в институт, у нее появилась жизнь, неподконтрольная мне. Какой-то Кузнецов зааживал к ней и засиживался с конспектами — детина с простым русским лицом. Я его не любил уже за то, что Ева без конца ставила его мне в пример.

— Он, конечно, человек простой, звезд с неба не хватает, — говорила она. — Зато с ним легко. А с тобой и с твоими «поэтами» я все время в напряжении.

— Да ты среди нас, как щука в воде. Только и посматривай, как бы кого-нибудь не сожрала.

Ева засмеялась. Ей понравилось такое сравнение.

— Нет, — сказала она, углубленная в свои мысли. — Иногда хочется чего-нибудь попроще.

— Вроде Кузнецова, твоего молотобойца?

— Не стремись его обидеть. В нем много хорошего. Во всяком случае, за что бы он ни брался, у него все получается. А у тебя...

Я не стал продолжать разговор. Нашел повод, отвлек Еву, подумал: ничего, мы еще поборемся.

Однако нотки безапелляционности, с какими теперь говорила Ева, и то, как она преобразилась, повзрослела, как рассуждала, как высказывала свое мнение, — все это разительно отличало ее от прежней моей милой подружки, которую я любил сажать на колени и читать ей свои опусы.

В конце зимы я сбежал со стройки.

Объявили, что ищут добровольцев строить в тайге пионерлагерь. Такая экспедиция меня устраивала, она давала нам с Евой передышку, тайм-аут. Мы устали друг от друга, что-то необъяснимое происходило не только на стройке, но и в личной жизни.

Сводную бригаду возглавил «бугор» по кличке Камбала, одноглазый ханыга, опытный монтажник, но идти под его начало охотников нашлось мало. Надо было забросить по зимнику в тайгу десять человек, чтобы они обосновались, приняли материалы, а когда сойдет снег, начали из стеновых плит монтаж столовой и жилых корпусов. Суть была именно в десанте, в заброске людей, техники и материалов по снегу, иначе весной в тайгу не сунешься, живописное местечко рядом с деревенькой окажется отрезанным речками и ручьями, которые превратятся в бушующие потоки.

Глухая деревня Старое Абашево прилепилась у края тайги. Дома стояли свободно, не мешая друг другу, как хутора, образуя весьма условно улицу, которая сбегала изгибом к речке, притоку Томи. До устья было рукой подать. Говорили, что здесь со временем построят новый мост через Томь. Пока же до этого захолустья добирались пешком по берегу большой реки от окраин Старокузнецка. Берег был крут, усеян валунами в рост человека,

обрыв подступал к самой воде, приходилось перепрыгивать с камня на камень и не всегда удавалось не замочить ноги. А чтобы доставить таким путем тяжелую технику, не могло быть и речи.

Поэтому добирались перелесками по холмам, постепенно поднимаясь все вверх и вверх, пока не оказались по другую сторону горы Маяковой. Преодолевая унылое и безлюдное пространство, двигаясь, по сути, без дорог, между сопок, покрытых мелколесьем, сборная бригада во главе с Камбалой и сопровождавшим нас в первом путешествии немолодым прорабом по фамилии Бенюх, на двух машинах-вездеходах, нагруженных всякой всячиной, полученными в столовой продуктами, таща за собой сварочный агрегат, да еще с колесным экскаватором, замыкавшим процессию, к концу дня добралась до Старого Абашева. За огородами деревни начиналась коренная тайга и пути дальше не было.

Стена из берез, пихтача и елок. На вид — густо и непроходимо.

Когда разгрузились и я наутро пригляделся, в тайге оказались проходы, прогалины и тропинки. Потом, уже летом, я немало бродил в окрестностях деревни, углубляясь в тайгу на три, а то и на пять километров. Перебирался через стволы поваленных деревьев, иные из которых рассыпались под ногою в прах. Все лежало в покое сотни лет, истлевая. Гигантский папоротник, в заросли которого входил, как в пальмовый лес, потряс мое воображение. Я шел обычно по еле уловимой тропе, не пытаюсь отклониться ни на шаг в сторону, да и не удалось бы. Слева и справа стеной поднимались

непроходимые травы, бурелом, опутанный лианами, это были русские джунгли. Потому и говорят: «Тайга» — а не «лес». По тайге не гуляют. Через нее продираются, работая и ногами, и руками, а то и топором.

Но все это я увидел и ощутил, когда сошел снег.

В деревеньке жили в основном шорцы, но было несколько русских семей. Механизаторы пошли в дом к телятнице Агнюшке, моложавой вдове с двумя дочками. Остальные рассыпались по домам, подалее от тайги, поближе к реке, в надежде на скорую весеннюю рыбалку. А меня потянуло к опушке. И я устроился в крайнем доме, где с женой и маленькой дочкой жил немолодой мужик, ему было пятьдесят восемь лет. Дорabатывая до пенсии, он нанялся в бригаду плотником по первому разряду.

«Ну, Камбала, змей, — подумал я. — Старик-то классный плотник».

Новичка стали называть «дед Степан». Он был поразительно похож на артиста Бабочкина в роли Чапаева. Такие же вислые усы, да еще зимняя шапочка вроде папахи.

Собственный Чапаев ходил туда-сюда, постукивал топориком, но бригаде его искусство пока не требовалось, и, чтобы не слоняться без дела, Степан таскал, что попадало под руку, пособлял кому надо, суетился и рад был небольшим деньгам, которые ему выписывал Камбала, грабя его.

Прораб Бенюх уехал, чтобы неожиданно наезжать с проверками. У него было таинственное легендарное прошлое, Бенюх в молодости строил Кузнецкий комбинат и обладал старомодной привычкой к честности. Камбала его побаивался.

Все разбрелись по избам, жили автономно, встречались только утром, друг к другу в гости не ходили, да и как ходить: пространство между избами немалое, за ночь его засыпало снегом.

Мне хотелось остаться одному. Но когда я выбрал избу Степана, вдруг поднялся некто Пойкин — я его прежде не знал, — свернул в трубу свой матрац, привезенный со стройки из общежития, взял фанерный чемодан с висячим замком и пошел вслед за мной.

Так мы стали квартировать вместе.

Пойкин оказался тихим человеком. На работе он выбирал место, где поменьше народу. Возвращаясь в дом, он тут же ложился на койку, не раздеваясь и даже не сняв пиджак. Попросив у меня книжку, он вскоре закрывал глаза и засыпал.

Я ложился поздно. И всегда заставлял Пойкина в той же позе, в пиджаке и с книжкой на лице, посапывающего.

А утром, когда вставал, Пойкин был под одеялом. Когда разделся?

Вот и теперь он спал и невнятно матерился, не хотел идти на работу.

Рабочий день короток. Часа в четыре уже смотрели, как бы удрать.

Степан, когда приходил с работы, долго сидел в кухоньке на табуретке собственного изготовления, курил и смотрел в одну точку — на сучок или на гвоздь в бревне.

Сегодня он устал. Как умудрился перетрудиться? — подумал я.

Припадая на каждом шаге, согнув спину, Степан прошел к сундуку, посмотрел на окрепшие кустики

помидорной рассады в ящике на подоконнике, сел на сундук, привалился к крашеной спинке железной кровати.

— Рейку мастер не велел на стены брать. Приказал — тес. Ух, тяжелый! Набух весь! — пояснил Степан свою усталость.

Я кивнул в знак понимания. Бригада лепила себе рабочую бытовку, без нее неуютно среди тайги.

Самокрутка в руке Степана задрожала, пуская дымок, выскользнула из пальцев и стукнулась об пол неожиданно звучно. Старик заснул.

На лбу у Степана морщина вроде большой морской птицы, раскинувшей крылья. Усы цвета мокрой осины не могут скрыть дурашливой улыбки. А глаза голубые, почти белесые, и в них постоянное удивление. Телогрейка висит на гвозде, на ней, как раз под сердцем, видна заплата, плохо подобранная по цвету, как специальная мета. В этой телогрейке он ходит весь год. И в тайгу бегают с топором за поясом. И в бригаде в ней работает.

По полу зашаркала веником Степанова дочка Ларка, позднее дитя. Ее подросшие сестры разъехались.

А мать по имени Зинаида топчется на кухне за занавеской. По звуку определила, как метет Ларка, качественно ли.

— Чище мети! А то жених корявый попадет.

Ларка пискнула в ответ, прикрыв рукой рот.

Степан открыл один глаз.

— Почему молока нет в деревне? — спросил я.

— Я так думаю, что быка не было, — отозвался Степан.

— А как же у тебя корова в загале?

— Мы водили.

— Да-а... Жаль, что молока нет. Сейчас бы хорошо молочка! — это Пойкин вдруг проснулся, услышал во сне разговор.

— Ты получил, батька, премию? — поинтересовался я.

— Не-а. Бригадир издержал. В получку обещал отдать.

— Вот Камбала, сволочь. Я ему скажу.

— Да ладно, отдаст.

Зинаида собрала обед. Пойкин вовремя проснулся, обед он никогда не просыпает. Тем более что обед — одновременно и ужин.

Я выхлебал пустые щи. Запасы привезенного мяса кончились. А в семье Степана его и не было вовсе. Выпили чаю, отодвинули еще теплые алюминиевые кружки.

Степан произнес свою традиционную, как молитва, фразу:

— Уложил крест-накрест и стоймя. И всяко! Дешево работать, солоней поесть...

Вечером, как всегда, разговор пошел о завтрашнем дне.

Завтра должен приехать Бенюх, привезти в деревянном ящике хлеб. С хлебом в Абашевке туго, выдают на душу по буханке и отмечают в школьной тетрадке химическим карандашом. Приезд бригады немного облегчил ситуацию. Во всяком случае Степан, зачисленный на работу, всегда с хлебом.

— Поди привезет хлеб-то? — спросил Степан.

Постепенно разговор приобретает отвлеченный характер: о том о сем. О будущей рыбалке, об охоте.

— Вот щуки были-то! — начал батька и показал размер. — На прутья навздеваешь, прутья не терпят. А теперь переглушили всю рыбу. По Томи лодки поднимаются с городу. Раз я на берегу у кривуна рыбачил...

— У какого кривуна? — спросил я.

— Поворот такой крутой. «Кривун» мы говорим. Смотрю, лодка вверх прошла. Слышу погода — бух! Глушат. Я тальником туда. А они уж рыбу тащат. Река от рыбы бела. Хотел вернуться за ружьем. Долго. Не успею. Выхожу на берег так. Машу им: «А ну-ка давай сюда!» Ку-ды там! Рыбу побросали, мотор завели — и деру. Двое их было. Одна, между прочим, женщина. За рыбу тогда десять лет давали.

— Признайся, рыбу-то ты оглушенную собрал?

— Не-е. Она какая, может, и отойдет. Но раз и я грех на душу взял, начальник приказал. Я тогда в леспромхозе работал. Нам есть нечего было, а народу богато. С полсвечки забросили — и то порядочно взяли, с ведерный чугуна. А сколько понизу погибло, не всплыло. А сколько рекой унесло!

Близость лета тревожила Степана. Он вчера видел рябчика.

— Далеко видел-то?

— Вплоть.

— Хочется в тайгу-то?

— О-о!.. Соболь уже залаял. Надоело.

«Соболь» — это лайка, привязанная во дворе.

— Ему надоело!.. — это Зинаида услышала наш разговор и вступила: — Ты бы лучше корове сена достал. Вот-вот отелится. Сам у семи чертей покос-то возьмет, а я — коси!

— Ох, много ты накосила сегодня! — огрызнулся Степан.

— У Агнюшки сено вон-ка у порога брошено, ноги вытирать, а у нас корове есть нечего. Хозяин! — не унималась Зинаида. Она вышла из-за занавески, встала в проеме кухни, решила донять батьку всерьез.

Спор у них, понял я, вечный, из вечера в вечер. Соседка Агнюшка — как заноза или соринка в глазу, мешает жить спокойно Зинаиде. Ладная баба. Сена у нее, и правда, навалом. И навоза куч сто завезла, раскидали прямо по снегу. Держит в избе механизаторов, зная выгоду. Они ей и дров привезли, и навоз, и сено. Ей плевать, что они грязные, зато удобно. Да еще с Санькой, с бригадным «блатным», как его называли, у нее амурсы. Что же? Свободная женщина! И он командировочный, а значит, временно неженатый.

Степан — полная противоположность. И от нас с Пойкиным его Зинаиде никакой выгоды. Ни дров, ни навоза. Но Степану нравится со мной разговаривать, а Зинаида кипятится. И жалуется мне:

— Курит... Да сидит! Теперь радиво в доме завел. День и ночь будем сидеть с радивом. Ему ли сидеть? — обратилась Зинаида ко мне за поддержкой, видя, что Пойкин уже заснул. — А скажешь, окрысится.

— Да ну ее к чертовой матери! — буркнул Степан. — До пенсии, а там в тайгу. Хватит! За жизнь наработался.

Кого он имел в виду, я не понял. Кого посылал к черту? Корову, у которой нет сена? Агнюшку, ненавистного конкурента?

Странно... У Степана и корова, и гуси за стеной шебаршат, спать мешают. И овца вчера окотилась, и пасека кое-какая, и руки умелые — а богатства не нашёл. Изба покрыта дранкой, сам ходит в чем попало. Ничего-то у него нет. Голь! Даже ружья личного. Пули на сковородке катает.

Степан лишен чего-то, что есть у Агнюшки, размышлял я. Может, предприимчивости? Или еще чего-то такого, какого-то особого гена?

Вчера Камбала надул его, а ему хоть бы хны. И все, что делает по дому, делает нехотя. Зинаида попросила соорудить ящик под навоз, высаживать рассаду. Наконец, сделал и сказал: «Вот тебе гроб», — это он так пошутил.

Разве что пасека его привлекает. И конечно — тайга! Охота.

Однако холодно в чужом бревенчатом доме. Зинаида экономит дрова. Степан забрался на кровать, застонали старые пружины.

«Пора и мне, — подумал я, — придется ложиться в свитере. Пойкин давно уже дрыхнет. Как всегда, в пиджаке».

Я лежал и думал о себе.

Как я здесь оказался? Что я делаю в этой деревне, в этом доме? Собираю литературный материал?

«Да хватит обманывать себя — ничего я не собираю. Просто живу, хожу со всеми на работу, ковыряюсь в мерзлой земле, страдаю, когда Бенюх хамит нам в глаза, орет да орет. А мы в ответ плюем на него... Надоели они мне все! И Бенюх с его рассказами, как было прежде, на Кузнецкстрое, и мастер Витя, полное ничтожество, заискивающее

перед Камбалой, и сам этот Камбала, урод, ошибка природы, и эта оборотистая старая блядь Агнюшка... С какой стати они поселились в моей голове?»

В такую минуту мне казалось, что я понимаю Степана. Мне тоже хотелось забраться подальше в тайгу, где летают рябчики. Ни одного рябчика я еще не видел, над домом Степана летали одни каркающие вороны.

Сама собой пришла мысль: «Может, пора домой, в Москву?»

Ладно, пока пора спать, решил я. Утро вечера мудренее.

Но еще долго не шел сон. За незанавешенным окном, точно костер вдали горел, светило окошко шорца Ивана, старика, которого наняли стеречь будку. Вот построим ее, размышлял я, и шорец будет охранять общее добро: бензорезы, рейку, рубероид. Будет топить печку и ночевать в новой бытовке. Мы придем, мечтал я, а у нас тепло. Шорец жил с такой же древней старухой. Как раз у него остановился красавчик Гордиенко, который, прослышав, что я в тайге, примчался, как очумелый, не мог упустить случая поохотиться без отрыва от производства. Привез ружье и вчера палил по мишеням. Местные пареньки-малолетки, как злые волчата, смотрели на него с завистью: такой и зайцев всех перестреляет, и шорок их не побережет.

В ту ночь случилось несчастье.

Рано утром я почувствовал, что что-то не так. Степан включил радио, а под утро самый сладкий сон. Батяка был мрачен. Зинаида, его жена, молча поставила кашу на стол. Сказала, как бы поздоровалась:

— Ягненка корова ногой чебурахнула. Убила!
Вон, значит, что!

Для семьи Степана это беда.

— Ладно, — сказал Степан. — Чему быть, того не миновать... Обдери, шапку залатаю. Что же поделаешь?

Встал из-за стола, отодвинул миску. Не произнес своей обычной молитвы.

В тот день все было неладно. Беньюх не привез хлеба. И сам не приехал. Мы со Степаном валили деревья. Степан подрубал, а я наваливался плечом и искоса наблюдал, как пепел со Степановой сигарки падает в снег.

— Давай запилим, батя, — предложил я.

— Нет, срублю.

Пока я отошел в сторону и обрубал сучья у поваленных уже стволов, за спиной зашумело и ухнуло. Степан, не дожидаясь меня, сам принялся валить дерево, не успев отскочить в глубоком снегу и теперь лежал под ветвями ели, ругаясь: «У-у... твою мать!»

— Ты как? — подобрался я к нему.

— Столько лет лесорубом был, — кряхтел Степан, поднимаясь. — А тут лесину нормально срубить не смог. Чуть не задушила!

Он встал, весь в липком, мокром снегу.

Весна уже пошла. Днем таяло и текло, а ночью прихватывали еще морозцы. Мы спешили, времени для лени не оставалось.

К концу смены Степан обнаружил, что потерял топор. Где забыл? Или кто взял?

Он ходил неприкаянный. Заглядывал в узкие длинные коридоры между приваленными друг к другу опалубочными щитами. Искал.

— Ты моего топора не видел? — обращался он то к одному, то к другому. И уточнял: — Такой сточенный, с тонкой ручкой.

Домой пришли — и дома не ладилось. Капуста ничего, а огурцы, показалось Степану, стали пахнуть кадушкой.

— Они внизу были, — нашел он объяснение. — А капуста сверху со смородянником.

Все шло к тому, что в воскресенье Степану не отвертеться. У коровы осталась одна охапка сена. Значит, придется брать лыжи и по утреннему чарьму идти в тайгу за сеном. Там, на полянах, его еще много — гниющего, совхозного.

И наконец я понял, в чем секрет таинственной лени Степана. На работе не ленив, не засиживается за перекуром, все время на ногах, подтянет ремнем свою телогрейку потуже, рукой — за топор и, покуривая на ходу, уже стучит, мешает другим дышать. А в тайгу за сеном — Зинаида никак его не прогонит!

Да сено-то — совхозное! — сообразил я.

У Степана в голове существовала своя иерархия принципов. Газет он не читал, а только курил их. Кто ему внушил, что совхозное трогать нельзя?

«Ну просто таежный реликт!» — решил я.

Вышли затемно. Я напросился в попутчики. Надо было помочь этому странному старику. Да к тому же не терпелось побывать в тайге. Провожая, Зинаида сунула каждому по куску домашнего хлеба. До свету встала и уже испекла.

Под лыжами поскрипывал крепкий наст, местному — чарым. Идти было легко. У меня за спиной болтался рюкзачок с веревками, а у Степана

под мышкою — еще одни лыжи. Предстоит соорудить из прутьев нары, прикрепить под ними лыжи. Сверху навалить копешку — и тащить ее вместе. Главное, успеть до того, как поднимется солнце. Тогда деревья, прогретые солнцем, сбросят липкие комья снега, капель изранит утренний наст. И с тяжелым грузом из тайги не выбраться.

Степан остановился перекурить. Оглядел тайгу.

— Осела, — сказал он, обводя взором ближние осины.

Я любил лес. Но вырос в подмосковных лесах, а они по сравнению с тайгой — как интеллигентные дамочки рядом с деревенской бабой. Упал ствол — его тут же утаскивают дачники-санитары. И пахнет в подмосковном лесу, как в кабинете ботаники.

Наконец, дошли до места. Надергав сена посвежее, увязали тюк. Расстелили рюкзачок, перекусили. Рассвело, но солнце еще не грело. Спешить было некуда.

Мы со Степаном накидали под себя сена посуше и улеглись, как боги, поблаженствовать. Степан учил меня различать следы, показывал, где птицы токовали, где зайчик отдыхал, где пробежала лиса.

— У нас хохол был по фамилии Индюк, — вдруг вспомнил Степан, дожевывая хлеб. — Как-то он с другим мужиком лис ловил. Поставили капканы. Хохол первым прибежал, смотрит: есть одна. Он скорее домой, обдирать. Успеть вперед дружка. А тот приходит, говорит: «Лису на пару!» Хохол отвечает: «Нэ дам! Моя лыса!» Оглушил лису молотком и начал ее по-быстрому обдирать. А лиса как закричит! Она еще живая.

— Отпустил?

— Так живую до половины и ободрал, пока сохла. Обдирает, а сам матерится: «Нэ дам, моя лыса!»

— Так и не дал?

— Не дал. Ему за лису порошу отвесили, дроби. Одной муки только двадцать пять кило дали. В те времена, в войну...

— Признайся, Степан, а тот, второй мужик, не ты ли это был?

— Нет... Я был на фронте.

Разговор перешел на темы войны. Я помнил военное время плохо, был ребенком. Да лучше бы его и не вспоминать.

— Однажды пошли мы трое в разведку, — рассказывал Степан, покуривая. — Идем лесом, слышим: кричит женщина, просит помочь. Стали стороной подкрадываться. Видим, трое немцев двух наших девушек терзают. Одной пальцы на руках и на ногах поотрезали, а другой руки гвоздями к лесине пришили, то есть распяли... Один мужик у нас нож кидал здорово. Он часового немца издаля просадил беззвучно, остальных мы живьем взяли. Гвозди выдергивать стали, а они их по самую шляпку вогнали, не вытянешь. Пришлось шляпку сквозь ладонь прорывать. Так два гвоздя в березках и остались... Когда шли обратно, девушек немцы вместе с нами несли на плащ-палатках.

Я слушал Степана. Картина — пострашнее ободранной лисы.

Сколько лет было тогда Степану? Лет тридцать пять или сорок... Опытный таежник, подходящий человек для разведки. Однако и такому изменила

удача, попал в плен и остаток войны провел в лагере. Освободили его американцы.

— А почему ты, Степан, вернулся? Ведь многие тогда уехали с американцами. И ты мог бы?

— Мог... Но, вообще-то, не мог. Мы быка купили. А куда с быком на самолет!

— Каким быком? Откуда в лагере для военнопленных бык?

— У немцев купили. Ходили за ним в их деревню. Я, правда, не ходил, пятнадцатый день не вставал, лежал в лагере. Ребята ходили, через старосту договорились с хозяином. Тот сперва не хотел продавать, а староста ему говорит: «Бери марки, пока дают. А то и так быка заберут. Их победа». Но мы по-честному, купили. За сколько сказал... А бык хароший был! Зда-аровый! Сытый. Наш, наверное, угнанный. У немцев больше рябые, а этот красного цвета... Куда же мы в Америку с быком? Мы его на мясо. Подхарчились — да домой.

— Как тебе американцы?

— Ничего... Не пойму только, почему они такой белый хлеб едят. Страсть белый! И нет у них этого порядку: офицеры отдельно, солдаты отдельно. Все вместе садуть за стол и давай!

— Так у них демократия!

— А у нас чево?

— У нас? У нас — сам знаешь.

— Да-а, — протянул Степан. — Глаза людям глиной-то не замажешь... Однако пора нам, Андрей, в обратный путь. Солнце поднимается.

Когда подходили к дому, услышали звук работающего дизеля и вскоре увидели трактор, он тащил сено Агнюшке во двор.

В кабине сидели двое: бульдозерист Сашка-блатной и молчаливый моторист.

Вчера по случаю отсутствия Бенюха засиделись в будке, только что отстроенной, раздавили две бутылки. Где достали? Я решил: у той же Агнюшки. Сидели в полутьме, травили баланду. Степан ушел домой, а я задержался, слушал, как Блатной рассказывал о своем очередном приключении. Врал, конечно, но складно.

— Сперва мы с ней поболтали, — докладывал Сашка. — Я говорю: «Что-то я вас тут не видел...» А сам молчу, что мы две недели назад приехали. Потом говорю: «Что-то я замерз. Полезли в кабину погреемся». Она мнетя, а я тащу. Она говорит: «Там грязно». А я говорю: «Чисто». Мне бы ее только в бульдозер затащить, там я ее прижму — куда денется?

— Ну-у? — не выдержал нетерпеливый хохол Гордиенко, сам большой специалист в таких делах.

— Посадил в кабину, как положено.

— И что? Что ты тянешь-то?

— Я не тяну, я рассказываю... Сидим, трепемся. Она мне про школу рассказывает. В седьмом классе учится или в восьмом. А я не могу, мне молоденькой охота!

— Ну, а дальше? — Гордиенко ерзал, сидя у стены по-турецки.

— Дальше все по уму было... Потом она заспешила. Я ей говорю: «Хочешь, провожу?» Она отвечает: «Меня мать убьет!» Ну тогда, говорю, давай беги!

Сашка потянулся, как сытый, довольный жизнью кот, развел руки в стороны, дернул ими, пощупал для чего-то свой живот, потом шею и щеки. Сказал:

— Похудел я тут. Я из лагеря во с какой будкой приехал. Что шея была, что брюхо! За семь лет собачек съел — тыщи! Бригадир мне говорит: «Саня, давай! Только по-шустрому». А сам конвой и охрану на вышках предупредит. Я с собою, как на работу идем, брал грабли. К забору подбежишь, доску ногой выбьешь и ставишь петлю. А след на запретной вспаханной полосе за собой граблями заметаешь. Рядом деревня, собаки, когда мы уходим, по зоне шнырят, в дырки в заборе пролазят. Обрато идем, обязательно собачка есть. Какая еще трепыхается, какая уже задавилась. Тут их — раз! И через забор. А там уже братва ждет, костры жжет. Сразу их в котел.

Я в ужасе спросил:

— И ели?

— Ой, Андрюша! Шибче баранины. Ножку ухватишь — эх! Жирная. Вот у меня морда была, — показал Блатной. — Куды там сейчас... Баб там нет, питание регулярное. Но главное — собачки. Мы даже у начальника лагеря бобика съели. Маленький такой, но жирный был, гад. Начальник лагеря бегал, искал — кто? Кричал: «Узнаю, враз решу!» А что? Запросто! Списали бы потом. Но мы — все по уму, не подкопаешься.

Сашка опять потянулся и вдруг пропел частушку:

*— У меня милашка есть,
Звать ее Марфеничка.
Она девка ничего —
Дурочка маленечко!*

Гордиенко вскочил, топнул ногой и подхватил:

*— У меня милашка — Машка,
Машка из Америки.
Если Машка мне изменит,
Удавлю на венике!*

Развеселились. Сашка-блатной и Гордиенко пошли кругом по будке, притоптывая каблуками по свежеструганному полу так, что брызги вылетали из промокших досок. Все повскакали, хохоча. Расступились, прижались к стенам.

Ничего им особенного не надо, удивлялся я, дай только поорать.

Заведенные рассказами на любовную тему, частушки выбирали соответствующие.

*— Дуру я свою косю
На портянке нарисую.
Когда буду обувать,
Ее буду вспоминать.*

Это орал приблатненный Сашка, ударяя об пол валенком в резиновой литой галоше.

Ему отвечал хохол, постукивая франтоватым яловым сапогом:

*— Я не буду ей платить
Три рубля с полтиной.
Она знала, где гуляла,
В саду под малиной.*

И чтобы совсем забить конкурента, не дать ему высказаться, сапог Гордиенко застучал интенсивнее, а сам он заорал так, что пара сосулук упала с крыши:

*— Я не буду ей платить
Три рубля и трешку.
Лучше буду я качать
Пацана Сережку!*

— Отлично, Володя! — закричал я. — Я всегда считал тебя порядочным человеком. И три рубля сэкономишь, в хозяйстве пригодятся...

— Лушин, не выступай... Мы еще с тобой по шоркам вдарим!

— Нет уж, уволь.

— Брезгуешь?

— Как-то непривычно.

— А есть ха-рошенькие!

— Вы бы поосторожней, кобели! — вмешался Камбала. — За шорок вам головы поотрывают.

— Кто не рискует, — произнес Гордиенко чужую услышанную фразу, — тот не пьет шампанское.

— Тебе только шампанского не хватало. Ведро!

— Кстати, — вспомнил я и, желая сменить тревожную тему разговора, сказал: — Есть повод выпить!

Все оживились, закричали: «Какой?»

— День рождения вождя. Забыли? — произнес я и посмотрел, какое впечатление произвел. — Завтра двадцать второе апреля!

— Правильно, — согласился Сашка-блатной. — У нас в зоне в этот день всегда беседу проводили.

— Ну вот! А вы все про девиц... Приедет Бенюх, может, какую премию даст.

— Деньжата не помешали бы, — мечтательно произнес Пойкин, подав из угла голос.

— Да, — согласился Гордиенко. — У механизаторов калым, а нам взять неоткуда.

— Своровали бы чего-нибудь! — посоветовал Блатной.

— А чего тут своруешь, тут не стройка. А своруешь, так не продашь.

— Ну да, не продашь. Самогонка-то всегда найдется.

— На стройке сегодня флаги вывешивают. Завтра пьянка будет, — вздохнул с грустью Гордиенко. — Конечно, не так, как на май. Но бутылку на двоих возьмут.

— Это кто как, — определил Камбала. — Ваш Костыль каждый день бухой.

— У нас теперь Опанасенко бугрит, Костыля списали, — произнес Гордиенко.

Вот это новость! Я и не слышал об этом.

Спросил:

— Ну и как он, этот Опанасенко?

— Сознательный! Я его спрашиваю: «Ну чем лучше-то стало?» А он мне: «Ты не увидишь, ты все брюхом меряешь». Вот падло! Был бы я у власти, я бы такого первого задавил.

— Потому тебя и не поднимают, — наставительно произнес Камбала. — Тебя еще больше опустить надо.

— Это хрен в зубы. Больше, чем могут они, — Гордиенко вытянул ладони и растопырил пальцы, — не опустят.

Перебранка продолжалась, постепенно затухая. Всегда так: то песни вместе поют, то вдруг полагаются. Черта это, что ли, наша, подумал я, ссора всегда сторожит веселье.

И вдруг странная мысль мелькнула у меня.

Да ну, глупость — отмахнулся я. Ребячество!

Да кому это надо? Сашке-уголовнику? Или хохлу Гордиенко? Может, Пойкину, если проснется?

Я подумал: достану-ка я флаг и завтра повешу его на высокую елку.

Идея, конечно, была глуповата. Да и я уже был не тот романтический персонаж, который уезжал с рюкзаком с Казанского вокзала несколько лет назад.

Но что-то в этой затее было привлекательное, мальчишеское. А почему, собственно, не слазить на елку? Это же так интересно.

Ничего не объясняя бригадиру, я попросил отпустить меня с утра часа на два. Сказал: «По личному делу».

Я не представлял, какую задал себе головоломку. Это на Запсибе — километры красной материи. В любом красном уголке общежития — бери сколько хочешь. Можно даже сразу с деревком. А то упрешь и бархатное знамя.

Я ходил по деревне, искал хотя бы клочок кумача.

Увидел: двое мужиков мастерили сани для лошади. Подумал: «Есть ли на земле еще место, где весной мужикам делать было бы нечего?»

Сдержал себя, хотя было очень смешно: снег вот-вот сойдет, а они — сани. Подошел, поздоровался. «Кто у вас главный?» — спросил.

— А что такое? — насторожились мужики.

— Мне нужно... — я запнулся. Ну как им объяснить, что мне нужен красный флаг. Такая же нелепость, как и сани в такую пору. «Чем я умнее их?»

— Флаг мне нужен. Обыкновенный красный флаг. Неужели непонятно?

— Чего-чего?

Люди смотрели на меня, совершенно остолбенев.

Наконец до них дошел смысл просьбы.

— Флаг?.. Это к бригадиру, — протянули они с опаской.

Я и сам понял, что без начальства тут не обойтись.

— А у нас нет флага, — уточнил один, что помоложе.

— Я это понял, — сказал я.

— А на кой хер он нам нужен!.. — заключил другой, постарше.

Я решил не обострять ситуацию и не отвлекать людей от их занятия. Спросил:

— А где бригадир?

— Он-то? — переспросил молодой.

Я давно обратил внимание на странную сибирскую привычку никогда не отвечать сразу. Бесмысленная, бестолковая, раздражавшая меня манера — потянуть время.

— Да. Где он, ваш бригадир?

— Он-то?.. Он домой пошел.

Я выругался про себя.

— А где дом его? Можете сказать?

— Старый или новый?

— Ну, к примеру, старый?

— Вон он, смотри... Только бригадир сейчас не там. Он к новому пошел.

— Чего же ты молчишь?

— А ты не спрашивал!

— Ну вот спрашиваю: где новый дом?

— Гляди туда... Между школой и березой. Новый он как раз строит.

Наконец-то я выяснил, куда идти. Получалось: возвращаться назад.

За недостроенным домом около сарая сидели на бревнах трое, курили. Теперь я был учен.

— Кто из вас, ребята, бригадир?

Один поднялся.

— Я буду.

— Надо поговорить с тобой, — сказал я и отвел мужика в сторону. Флаг — все-таки деликатное дело.

— У тебя флаг есть? — выдавил я сквозь зубы шепотом, понимая, что вопрос звучит дико.

Молодой парень, чуть постарше меня, молча осмысливал вопрос.

Я уточнил:

— Обыкновенный красный флаг. Взаимы.

Сибиряк что-то смекнул. Почувствовал подвох.

— А тебе зачем?

Я ожидал этот вопрос и боялся его. Люди делом заняты: одни сани весной ладят, другие — дом бригадиру, а я к ним пришел за флагом. Значит, тут зарыта какая-то собака. Начать объяснять — день рождения вождя, — спохватится и не даст: сам от греха повесит.

Я неопределенно протянул:

— Да так... Надо, — и сделал страдальческое лицо: может, подумает — похороны? Сжалится?

— На складе где-то... Были.

— У тебя их сколько?

— А шут его знает...

Бригадир махнул рукой оставшимся мужикам и кивнул мне: «Пошли».

И тут я расслабился. И сказал: так и так, сегодня день рождения Ленина, а мы пионерлагерь строим,

нам положен флаг. Детишки, то се. Сам понимаешь!

— Да, конечно. — охал бригадир, — как я забыл! Надо флаг. И нам надо!

Подошли. Бригадир открыл амбарный замок сплюснутым гвоздем. В амбаре за сваленным хламом он нашел суковатую палку с накрученной полинявшей материей.

Развернул, посмотрел на флаг, снова свернул и сказал:

— На правление повешу, однако...

Я побрел назад, к дому Степана. Мимо тащились по мокрому снегу сани. Рядом с лошастью, придерживая вожжи, шла худая и изможденная, угасшая шорка. Из помятой железной бочки в санях через неровную дыру выплескивалась вода.

— Привет, водовозка! — поздоровался весело я с шоркой. — Здорово, говорю, шофер!

— А-а... Здорово, здорово! — шорка не выговаривала «д», получалось: «Старово, старово».

— Ну, как? Все возишь водичку из реки?

— Ага, вожу! — она и «г» не выговаривала. Выходило: «Ака». — Надо деньги зарабатывать!

Ох, совсем плохая шорка: «б» у нее тоже не получалось: «Ната теньки зарапатывать».

Я не сразу научился понимать шорцев.

— Сколько же зарабатываешь?

— Да маленько. Рублей пятьдесят.

— Не шибко.

— Я еще пенсию получаю на ребенка за мужа. Двадцать восемь рублей.

— Так ты, значит, не водовозка, а вдовушка?

— Ага.

— На твоей кобыле много не заработаешь. Отчего она у тебя такая худая?

— Сена не дают. Всю зиму по четыре килограмма в день. Бригадир говорит, директор приказал: «Пусть поддыхает, лишь бы телята ели». А я думаю, каждой скотине надо поровну. Кобыла до лета упадет. Много работы.

— Сколько раз в день на реку ездишь?

— Раз двенадцать.

— А сколько ведер вмещается?

— Тридцать. Обратно пешком иду. Она со мной упадет.

— Да ты вроде не тяжелая, — сказал я.

— Да. Тоже худая стала. Легкая, как мышонок. Но ей тяжело.

— Ты с дочкой живешь?

— Ага, у родных. Все никак не построюсь. Сруб три года стоит недорубленный. Людей надо нанимать, лес пилить. Много дела надо делать, а денег нет. Вот накоплю, тогда дострою.

— Тогда и жить некогда будет, в сруб-то!

— Это верно, — улыбнулась шорка.

Отдохнувшая лошадь потащила сани, как мне показалось, резвее. Мысль порасспросить эту женщину о куске красной материи показалась мне дикой.

Да, глупая затея, думал я, и время потерял. Хорошо, что никому не сказал, зачем ушел. Посмеялись бы.

По пути на работу — время было уже к обеду — повернул домой, к избе Степана. Чаю попью, решил я.

А дома оказался сам Степан.

— Ты где пропадал? — спросил он обеспокоенно. — Случилось что?

Я растерялся и вдруг рассказал Степану о своей затее. О походе к бригадиру, о палке с флагом, о том, что он мне флага не дал.

— Понятное дело, — серьезно сказал Степан.

За занавеской погромыхивала ухватами Зинаида.

— Мать! — позвал Степан. — Где моя рубаха красная?

— В сундуке! Где же ей быть, — отозвалась Зинаида.

— Иди-ка сюды, — позвал Степан. — Достань!

Поворошив в утробе сундука, Зинаида вытянула мятую красную, в белый горошек, Степанову рубашку.

— Ты не сомневайся, — сказал Степан мне. — Не шивая! Стирана, одевана, полиняла маленько от пота. Но ничего! На-ка, — повернулся Степан к Зинаиде. — Скрой!

Ну и мужик, подумал я. Железный старикан!

Я обрадовался, как ребенок. И ради чего все это, уже не имело значения.

Долго ли скроить из рубахи флаг? Не наоборот же!

Через двадцать минут, пока обедали, все было готово.

Когда подошли к рабочей будке, из нее, как сонные котята, выползали монтажники. Закончился перекур с дремотой.

Узнав, в чем дело, Гордиенко вызвался лезть на елку.

Ее облюбовали, и он полез.

Бригада стояла внизу, люди смотрели на флажок на зеленой еловой макушке. И так-то небольшой, он на такой высоте казался и вовсе крошечным.

Смотрели бессмысленно.

Камбала тоже смотрел одним глазом, другого у него не было.

— Дураки, — произнес он. — Рубаху испортили.

А утром на следующий день приехал Бенюх, привез хлеб и письма.

Походил туда-сюда мрачный. Собрал бригаду, объявил, что не хватает трех рулонов толи. Послали за шорцем Иваном, сторожем. Тот прибежал, испуганный.

Бенюх направил на шорца взгляд из-под лохматых бровей, и тот задрожал и замотал головой. Прораб без труда выяснил, что ночью дед замерз и ушел из будки спать к своей бабке.

— Продал? — допытывался Бенюх

— Не продавал я! — клялся дед.

— Сколько было рулонов?

— Не знаю. Не считал.

Все стояли рядом, посмеивались: «Нарочно не считал!» Было весело: кому она нужна, только. Этого рубероида, если надо, еще привезут со стройки, тысячи рулонов! И было просто смешно. Забавно: «Надо же? Дед пропил».

— Бабке-то поднес? — смеялся Сашка-блатной и хлопал шорца по плечу, подмигивая.

Наконец, Бенюх сказал:

— Садись в машину, едем искать.

Через час они вернулись какие-то странные.

Оказалось, что толь сперли двое: второй бульдозерист по имени Слава, который возил с собой

в кабине книжки, учился где-то, и голубоглазый моторист с дизеля, у него была улыбка киноактера и красивые, чуть скошенные зубы, ну просто американский ковбой.

Сперли и продали, конечно, Агнюшке, у которой квартировали. За самогон.

«Его-то мы и пили в будке накануне», — отметил я мысленно. И решил, что Блатной, конечно, знал об этом. Да и Камбала, пожалуй, был в курсе.

Бенюх кипел, как медный самовар. Раскраснелся. Расстегнул полушубок, распарился.

Его кузнецкстроевское нутро бушевало. Но не судить же за три рулона.

Плюнул, отmaterил. Сказал, что вычтет из зарплаты. На этом инцидент был исчерпан.

«Славно мы отметили день рождения вождя, — пробормотал я себе под нос. — Простенько и со вкусом».

— Вы что, Лушин? — спросил Бенюх. — Хотите что-то сказать? Вам писем нет. Не передавали. Пишут!

Но даже если бы Ева написала, письмо бы не добралось: вскрывшаяся речушка, которую подо льдом и снегом едва замечали, превратилась в свирепую тигрицу. Бенюх в последний момент успел выскочить из ловушки, и теперь его не дождешься целый месяц. Со всех сторон в речку обрушивались потоки талых вод. Захлебываясь от восторга, она неслась их в Томь, а та — в Обь. И щепки, которые, развлекаясь, я бросал в воду, могли запросто оказаться в Ледовитом океане. Это будило воображение.

Но проза жизни со всей прямоотой напоминала, что пуповина оборвалась и стройка, которую люди

столько раз все упоминали, теперь недостижима. Я мог сколько угодно наслаждаться красотой меняющейся тайги, вот только резервы таяли. Пора было позаботиться о пропитании.

Деревня же давно голодала. Мясные запасы иссякли. Степан все настойчивее поговаривал об охоте.

— Эх! — вздыхал он. — Лося бы завалить!

А пока я с мелкокалиберной винтовкой, прихватив Соболя, отправился побродить вдоль опушки. Углубляться в тайгу с таким смешным оружием, да без опыта и знания местности, я не решился. Просто гулял поблизости от дома Степана, стрелял дроздов. Я вычитал, что дрозд-рябинник, напоминавший с виду крупного воробья, на самом деле настоящая дичь, единственная прыгающая, и при дворе римского императора Лукулла дроздов подавали к столу, а крепостные крестьяне сотнями их ловили в силки и доставляли господам.

Начав свои походы потехи ради, я скоро понял, какую золотую жилу раскопал. За утро я набивал с десяток дроздов. Хватало на суп для всей семьи Степана. И даже Пойкина подкармливали. Особенно Пойкин любил косточки пососать.

Однажды, охотясь так, я вдруг заметил, что между ветвей, не выше человеческого роста, шестует что-то огромное, пестро-белое, никак не дрозд, какой-то великан, показалось мне. Я выстрелил. Соболя, обычно безразличный к моей охоте на дроздов, на этот раз сорвался с места, как торпеда.

Когда я подбежал, голодный пес вовсю трепал птицу. Это был рябчик!

Вот, значит, он какой!

Степан, увидев, заохал, выругал Зинаиду, которая занарядила его ладить что-то по огороду, порывался тут же бежать в тайгу на охоту.

Я кивнул ему в сторону Соболя, сказал:

— Охоться сам со своим идиотом! Он и охотника может сожрать, такой голодный.

Пойкин взялся приготовить из рябчика суп, не доверяя Зинаиде такой деликатес.

А я, обрадованный удачей, никому не говоря ни слова, задумал на следующий день, как раз в выходной, отправиться опять на охоту, но на этот раз углубиться в тайгу. Мне казалось, что там-то, в глубине, такие птицы — на каждой ветке.

Утром, под видом всегдашней прогулки за дроздами, я рванул от дома напрямик в глубь тайги.

Весьма условно ориентируясь, заметив лишь, что солнце за спиной, не зная местности, без куска хлеба, с легкомысленным оружием и пачкой патронов в кармане, одержимый неведомой для меня страстью, я ринулся в чашу, как в омут.

Я шел по редкой, еще не заросшей кустами и травой тайге, перебирался через поваленные деревья, проходил глухими низинами, где еще лежал снег, поднимался по южным склонам, украшенным оранжевыми цветами, которые называют кто огоньками, кто жарками, — и ничего не замечал, окружающий мир для меня не существовал, я высматривал только бело-пестрое чудо, но оно не хотело показываться.

Так, поднимаясь и опускаясь, с сопки на сопку, я пробежал километра два, а может быть, три. Летом, когда все кругом зарастет, такое путешествие

может потребовать целый день, а весной, когда еще голо кругом, идти легко, и эта легкость усыпляет.

Вокруг ничего не порхало. Становилось заметно холоднее. В логах было полно серого снега. Я машинально обходил такие заснеженные пространства стороной, стараясь не потерять направления.

Трудно сказать, сколько бы я так шел, движимый проснувшейся во мне охотничьей страстью, но вдруг я заметил нечто такое, чего никак не ожидал встретить.

В глубине оврага, по которому бежал ручей, на границе снежного покрова и песчаного бережка, у самой кромки воды лежал громадный лось.

Рога раскинули свои лопаты метра на полтора. Лось лежал на боку и задняя его часть была присыпана песком.

Я опасливо обошел животное. Убедился, что лось мертв. Стоял и думал, что теперь делать. Любовался рогами. Насчитал по семь отростков на каждой лопате, а на одной начинавшийся маленький восьмой.

Вдруг я заметил в нескольких местах неподалеку кучи свежего помета, причем внушительного размера. И от них шел пар!

Я вздрогнул.

Если лось мертв, то чьи это кучи? Чьи это котяхи, черт побери?

Я огляделся и только теперь заметил поломанные стволы осин, множество мелких сучьев, ободранную кору на деревьях. Лось пал в борьбе. И кто же мог убить такого гиганта? Кто засыпал его землей?

Наконец, я понял, что такое мог сотворить только сибирский медведь, вылезший из берлоги. Встреча с этим зверем не входила в мои планы.

«Ведь я спугнул его! — подумал в ужасе я. — Он был тут минуту назад».

Ноги проворно несли меня домой. Только через час, входя в избу, я понял всю степень опасности, которой по легкомыслию подверг себя.

Степан, выслушав о находке, молча покачал головой. А деревня — особенно шорцы — заволновалась. Мне пришлось опять отправляться в тайгу, показывать место, где я нашел мертвого лося. Шорцы хищно прыгнули с откоса к ручью, заработали ножами, рассекая лосиную тушу и нюхая отхваченные куски. Увы, зверь безнадежно протух. И след медведя простыл.

Весь следующий день деревня готовилась к охоте. Почти в каждом доме катали на разогретых сковородах свинцовые пули, что-то ладили. Ожил и Степан, тоже готовился.

Наконец, отправились небольшой группой. Соорудили на деревьях вокруг лося лабазы. На такой уютной площадке и я просидел, дрожа от холода, одну ночь. Нельзя было ни пошевелиться, ни кашлянуть.

На большее меня не хватило. А шорцы, сменяя друг друга, пятнадцать ночей ждали зверя, уверяя: «Придет!»

Но медведь не желал появляться. Наверняка же голодный, но чувствовал: его ждут.

И деревня была голодная. Со своими ружьишками, жалкими, одноствольными.

Кто-то и простудился, заболел. Степан не мог караулить из-за работы. Наконец медведь появил-

ся, но шорские ружья его не взяли. Тогда вызвали охотников из города. Приехал сам начальник охотничьего союза, переправившись на лодке с собаками. Пошла беспощадная травля по следу.

Наконец медведя убили. В нем оказалось пятнадцать пуль и двадцать пять пудов весу. Шкуру забрали в город, а мясо — к радости всех — отдали деревне.

Вид дымящихся повсюду труб над избенками хоть как-то успокоил мою совесть. Я ругал себя за всю ту кашу, которую заварил. Неделю ели медведя всем миром: и взрослые, и дети, и собакам досталось.

А кроме того, я сбегал в тот овраг, к ручью, где обнаружил лося.

Лось лежал на прежнем месте.

Я прихватил с собою топор и — не сразу, а по потев, — вырубил из лосиной головы роскошные рога. Завернул их в заранее припасенные тряпки, чтобы избавиться от липкой мертвой слизи, засунул их под клапан рюкзака, надел его и отправился в обратный путь, петляя между деревьями.

Две мысли тревожили меня.

Первая — зачем мне рога? Что за странный символ и повод для шуток? И без них не все ладно дома.

Вторая мысль была не менее тревожного свойства. Работая топором, я неловко задел костяшкой пальца по лосиной лопате. Выступила кровь, и теперь я думал: обойдется ли? А то не миновать судьбы Базарова!

Заканчивалась таежная командировка. На фундамент встали стеновые панели. Уродливые, как и все, что мы с собою привезли. Может быть, когда

поработают отделочники, когда расставят на поляне детские грибочки, а на мачте затрепещет на ветру настоящий флажок и среди елок забегают пацаны, обстановка изменится? И не будет выглядеть так омерзительно?

В деревне, во время сытых гулянок, сварщик Гордиенко, потеряв бдительность, отправился один на «пяточок», толкался среди малолеток, балагурил и в темноте ухватил какую-то девчущку. Волчата выследили его, налетели в укромном месте всей стаей и жестоко избили.

Теперь Гордиенко лежал и постанывал. Лицо опухло, глаза заплыли.

Ждали машину, которая заберет часть бригады. Гордиенко ехать наотрез отказался: в таком виде не покажешься дома. А я решил уезжать. Увязал вещи. Достал с крыши сарая рога, которые проветривались и прожаривались на солнце, извел на них три пузыря тройного одеколлона, освобождая свой трофей от запаха мертвечины.

Наконец, последний раз вымыл вместе со Степаном сапоги в ручье, испытывая неловкость — так чиста и беззащитна была лесная вода.

И опять Степан меня успокоил:

— Она проточная, тут же светляет.

Мы простились.

Через час я уже трясся, привалившись к борту машины, которая везла меня на Запсиб, к прежней жизни.

По пути я представлял, как скажу Еве: «Все!.. Мы едем в Москву».

Я улыбался, предчувствуя, как обрадуется Ева, как бросится мне на шею. Все логично, скажу я ей,

все нормально. Мы же не беглецы и не переселенцы. Просто мы возвращаемся домой. Задули домену, запустили первую коксовую батарею, построили поселок. Разве этого мало? Кто сказал, что мы должны провести тут остаток дней? Что я — демобилизованный солдат, которому некуда податься, кроме своей деревни? Хорошо, что комсомольские путевки не потеряли. С ними в двадцать четыре часа пропишут в Москве — вышло такое постановление. Каждого туда, откуда «выписан».

Наконец-то мы заживем все трое вместе. Наш сынок, отправленный к бабушкам, вернется к нам. Или мы — к нему, можно сказать и так.

А как же «республика Запсиб»?

Засосало под ложечкой. Наивные стихи, беспомощная, но искренняя журналистика. Вон Гоша улепetyивает по своей дороге семимильными шагами, кропает книжку за книжкой. И никуда не торопится уезжать со стройки. Она стала для него и золотой жилой, и кормящей коровой.

«Почему же мне стало неинтересно? — спрашивал я себя, покачиваясь на поворотах дороги. — Куда все испарилось? Осталось материальное: лопата, кувалда, спуск-подъем, вонь портянок, тупая усталость».

Я узнал новость: на стройку приехала группа телевизионщиков, снимают сюжеты о Запсибе.

Когда я пришел к Гоше, у того как раз базировались гастролеры. В теплой атмосфере попивали кофе. Эти раскованные франтоватые ребята уже неделю будоражили Запсиб, привезли с собою позабытые нами разговоры, необычные манеры, про-

фессиональный жаргон. Группу возглавлял Аркаша Габилевич, сын киноклассика и — как сказали мне — тоже талантливый молодой режиссер.

Габилевич, оказывается, был весьма осведомлен о необычном монтажнике. Он знал все обо мне. Даже историю яблоневого сада, стертого с лица земли, и то, как я, тогда еще работавший в «Металлургстрое», пытался в одиночку противостоять головоутиям, писал статьи, бунтовал население уничтожаемых домиков на территории старого совхозного сада, уникального подарка природы для воздвигаемого в Сибири завода, но непреодолимая жестокость новых хозяев жизни, их недалекость и глупость смяли, как нож бульдозера, и сам сад, несколько гектаров цветущих яблонь, и развлечения аборигенов, и суетящегося журналиста.

Габилевич захотел тут же, немедленно снимать меня. Благо опять была весна и несколько чудом уцелевших яблонь, немим укором, цвели посреди развороченной земли.

Я стоял перед камерой с глупым лицом и чувствовал себя не в своей тарелке.

Однако ситуация была сложнее. Оказывается, в отсутствие меня киношники снимали не только свои сюжеты, но и местных девиц. И Ева мелькала в их компании звездой первой величины. Именно на нее положил глаз талантливый режиссер.

Постепенно передо мной открылась удивительная картина. Дело дошло до того, что во время очередной кофейно-водочной вечеринки Гоша Левченко, полагая, что честь его отсутствующего друга задета, схватил спяна со стены ружье и разрядил его в Аркашу Габилевича.

Я слушал живописный рассказ моряка Боброва. Мне не верилось, что эта экзотическая история имеет отношение ко мне и к моей семье.

Я спросил:

— И что? Попал?

— В безобидную овцу, в сценариста Аваняна. Гоша был сильно пьян и перепутал.

— А что Аванян?

— Да ничего особенного... Ружье было заряжено пыжом. Холеный армянин лежал с обожженной коленкой, над ним хлопотали, а наш Леонович, наблюдавший все это, принял гамлетовскую позу и драматически произнес: «Гоша! Ты совершил бесчеловечный поступок. И с этой минуты я не подам тебе руки!»

— А Габилевич?

— Пускал слюни. Пытался даже ударить Гошу, но боялся.

— А Гоша?

— Наш «Бальзакушка» бормотал что-то невнятное в оправдание своего промаха.

С этой минуты, по словам Боброва, у киношников все пошло прахом, пафос «лажать комсомол» улетучился.

— То, что ты застал, — это агония, — сказал Бобров.

Какой же я идиот, подумал я, всем рассказываю, какие замечательные рога привез из тайги, зову в гости посмотреть.

Ева ничем не проявляла своей причастности к скандальной истории. При стрельбе не присутствовала. Предстоящему отъезду обрадовалась, но отреагировала сдержанно.

А Леонович, успокаивая меня, сказал, что Габилевич — скользкий малый. По его мысли, это должно было облегчить мое положение. Чтобы развеять обстановку, он предложил взять с собою Еву и втроем отправиться в живописный уголок, где еще с 30-х годов располагался шахтерский дом отдыха. Было решено ехать, но о затее узнал Гоша и, как ни в чем не бывало, присоединился к компании. И теперь мы все четверо дружно, несмотря на то что Леонович по-прежнему не подавал Гоше руки, прогуливались мимо каменных фигур героев труда, покрашенных серебряной краской, а рядом проходили живые герои, по вечерам отдохавшие в ресторане. Гоша смирился с тем, что один из друзей не подает ему руки, пил пиво и сосал воблу. Сам же поэт подтягивался перед Евой на турнике, а потом забрался на десятиметровую вышку и прыгнул в пруд «солдатиком». Ева была в восторге.

Гоша тоже разделся и оказался белым, как простыня, и невероятно толстым. Ева хохотала.

Потом мы куда-топлыли на лодке. Перетаскивали ее в другой заросший водоем. От того дня осталось ощущение полноты жизни и счастья.

Так мы с Евой дотянули до осени. Во мне жило воспоминание о визите на стройку киношников. А Ева вдруг погрустнела, когда в Москву уехал Леонович.

Он стоял на перроне, убежденный трезвенник, читал стихи, а мы слушали его. Пришел и Гоша, не рассчитывая на пожатие руки. Он один был немного под газом.

Все смотрели, как Леонович рубит в такт стихам воздух рукой. Ева плакала и шептала мне: «Если хочешь, можешь оставаться. А я тоже уеду».

— Я не хочу оставаться, — шепотом ответил я и внимательно посмотрел на Еву.

Та отвела глаза.

Голос поэта, читавшего свои стихи, как молитву, звучал не просто прощанием.

«Куда теперь забросит каждого из нас?» — печально подумал я. Посмотрел на Гошу, на хныкающую Еву, на гордую голову Леоновича, который выкрикивал:

*— Себе вы пророчите
бури и беды.
До старости строчите
гордые «кредо».
Исполнены света,
прозрачны, глазасты —
на вас эта мета
особенной касты.
В судьбе вашей светлой
никто не виновен,
поклонники ветра,
невольники крови,
и этой наследственности
не осилить,
суровые мальчики,
дети России!*

Поезд ушел, потух красный сигнальный огонек на последнем вагоне.

Осенью того же года, наскоро собрав чемоданы, раздав долги и получив справку, что вернул квартиру, упаковав и отправив багажом книги, я, двадцатидевятилетний, с огрубевшими для жур-

налиста руками в мозолях и ссадинах, забрав с собою свою единственную ценность — Еву, похорошевшую, набравшую веса красавицу, прозаически отбыл с великой стройки.

Мы сели в поезд при Хрущеве, а в Москве вышли из вагона — уже при Брежневе.

За четыре дня, пока были в дороге, в Кремле произошел дворцовый переворот.

Утром следующего дня я пошел на свидание с другом. Леонович ждал меня на площади Маяковского. Он стоял спиной к памятнику, держал под мышкой папочку и, когда увидел меня, эффектно отшвырнул ее далеко на газон, чтоб не мешала раскрыть объятия. Так, с раскинутыми руками, он пошел мне навстречу с криком: «Здорово, старик!» — обхватил меня за плечи, и я неловко и смущенно ткнулся ему в грудь.

Столица встретила с редким безразличием. В душе мешалось два чувства: я поглядывал на сверстников с самоуверенностью человека, выдававшего в день пятьсот газетных строк, и в то же время что-то принуждало меня озираться по сторонам, ловить взгляды, прислушиваться к разговорам в редакциях, куда я заходил в поисках работы.

Меня никто не знал. Все связи были растеряны. Я понимал, что выгляжу безнадежным провинциалом.

Я, конечно, помнил, кто запустил меня на сибирскую орбиту. Но идти к самому Панкину, первому заму «Комсомолки», просить его о протекции, я не решил. Просто поднялся на шестой этаж здания на улице Правды, где помещалась газета. Никаких пропусков в ту пору не требовалось. И я походил

по коридору, позаглядывал в кабинеты. В одном из них мне сказали: «Нам нужен стажер. Зарплата шестьдесят рублей».

Прозвучало как приговор. Я подумал: «Ну вот, опять я ученик каменщика».

И согласился.

Мне сказали:

— Хорошо. Завтра приходи с темой.

На следующий день утром я приехал в редакцию и рассказал о двух комсоргах стройки, старом и новом, о Вербицком и Малофееве. «Ого! — произнес сотрудник отдела, в который я попал. — Отличная и, главное, наша тема!» — и побежал к начальству повыше.

А через два дня я улетел на Запсиб с новеньким удостоверением корреспондента «Комсомольской правды». Возвращаться мне на стройку для сбора материала не имело смысла — все, что нужно, было у меня под рукой, в записных книжках, в памяти, но так хотелось пролететь над страной за счет газеты, повертеть удостоверением перед носом морячка Боброва, который по-прежнему работал в «Металлургстрое», что я оставил Еву и умчался на Запсиб.

Очерк напечатали, хвалили на летучке, а возвратившийся из отпуска Панкин встретил меня в коридоре, пристально посмотрел, вспомнил и сказал: «А-а, ты вернулся? А сколько прошло? Пять лет?! Не может быть! Ну так заходи ко мне, поговорим. Может быть, к нам?»

— А я уже у вас, — ответил я.

С тех пор я стал именовать Панкина — исключительно в своих мыслях — «крестным отцом». И проработал под его началом пять лет.

Я оказался самым великовозрастным стажером «Комсомолки». Рядом мелькали какие-то девочки и пареньки. Но было несколько толковых ребят, чуть помоложе меня. Был такой кружок «молодых»: это Виталий Игнатенко, бывший сочинский официант, сделавший головокружительную карьеру, ставший лауреатом Ленинской премии за фильм о Брежневе, он и теперь на самом верхнем этаже информационного агентства, генеральный директор или что-то в этом роде; это Анатолий Стреляный с неистребимым хохлатским акцентом, тоже не слабый журналист, через пару лет его изгнали из газеты с клеймом «не наш» — за статьи, которые не смогли переварить, но он не потерялся, много лет работал на радиостанции «Свобода», можно сказать, матерый антисоветчик или борец за нашу свободу, кому как нравится; в круг молодых и начинающих тогда входил и Игорь Клямкин, в ту пору студент, начитанный и серьезный, а ныне доктор наук, любимый автор либеральной интеллигенции, и мне предстояло с ним еще раз пересечься; среди нас был и Юрий Рост, совсем мальчик, с фотоаппаратом, а теперь едва ли не самый талантливый, который одинаково блистательно владеет и словом, и объективом камеры, и тоже сделавший свой нравственный выбор; еще был вовсе ребенок, подвизавшийся в «Алом парусе» Юрий Щекочихин, через тридцать лет убитый — слишком настойчиво отстаивал свое право на человеческую жизнь. Никто не знал, как сложится личная судьба каждого из нас, да и сложится ли она вообще.

Мы вкалывали, как негры. Я двенадцать раз в первый год съездил в длительные командировки, сидел в отделе, редактировал чужие статьи, отве-

чал на письма, дежурил по номеру, спускаясь с шестого этажа в типографию. Опыт, приобретенный в многотиражке, пригодился.

В первые месяцы я дневал и ночевал в редакции. Возвращался домой за полночь, в комнатку в коммуналке, которую мать оставила нам, а сама переехала в другую, полученную наконец-то за долгие годы службы.

Однажды я застал дома Еву и Леоновича. Меня это не удивило. Поэт разошелся с женой и теперь часто бывал у нас. Мы его «жалели», как выразилась Ева, и действительно, хотелось помочь старому товарищу. Леонович часто оставался с Евой и нашим маленьким сыном вместо няньки. Я уезжал под вечер в редакцию, если по отделу шел материал. Стажер — это что-то вроде затычки для всех дыр. Он и «свежая голова», и доброволец в трудную командировку на Урал, в какой-нибудь Ирбит, забытый богом, а в Прибалтику ездила «белая кость», такой в нашем отделе была Оля Кучкина, аристократка и красавица, у которой была собственная «Волга».

Вот и в этот раз я отправился в редакцию, оставив дома Леоновича и Еву. Странная тревога вдруг охватила меня: да в того ли злодея целился Гоша, когда попал в Аваняна?

Статью сняли из номера, едва я расположился в редакционной комнате, приготовившись коротать в ней полночи.

Я возвращался домой с чувством нараставшей тревоги.

Открыл ключом входную квартирную дверь. Не стал по привычке шуметь и призывать Еву встретить меня. Прошел к своей комнате. Потрогал дверь,

она была заперта на крючок изнутри. Я постучал. Дверь приоткрылась. В слабо освещенной комнате, с настольной лампой, прикрытой сверху платком, различил силуэт Леоновича, сидевшего за столом со стаканом вина. На столе стоял бочонок, привезенный недавно мною из Молдавии, из него мы все вместе потягивали через резиновую трубку кисло-сладкое вино «Лидия». И нам казалось: «Пьем, пьем, а оно все не кончается».

— Зачем ты пришел, Лушин? — сказала Ева. — Неужели не понимаешь, что тебе тут нечего делать?

На кровати посапывал сын. Ему исполнилось три года.

От стола подал голос Леонович:

— Старик, извини, ты лишний. Мы с Евой давно уже вместе...

— А мне что делать? — пошутил я, еще не веря в реальность происходящего. Слабый свет, тени от предметов, мирный бочонок, улегшийся посреди стола, как поросенок, дыхание ребенка, друг, посвятивший мне стихи про «суровых мальчиков», — и Ева, Ева... Теперь она стоит и повторяет: «Уходи, уходи, Лушин. Я тебя не люблю...»

Проснулся сын. Чтобы унять нервную дрожь, я взял его на руки, но Ева стремительно отобрала ребенка и стала укладывать, еще больше тормоша и вызывая плач.

И тут вмешался Леонович.

Если бы он подождал лишнюю минуту, может быть, я ушел бы по своей воле.

Но тот вдруг поднялся из-за стола, резко отодвинул стул, подошел ко мне вплотную и легким движением руки подтолкнул меня к двери.

Кровь хлынула мне в голову, разум мой помутился.

Когда я пришел в себя, я услышал душераздирающий крик Евы и увидел Леоновича на полу, пытавшегося подняться и опять падавшего.

Ночь я провел у матери. Ничего ей не объясняя, рано утром я поспешил к себе домой и — о, ужас — почти лицом к лицу столкнулся с моим, теперь уже бывшим, другом. Тот шел, прикрывая лицо, и не заметил меня. Вид его был ужасен: распухшая тестообразная масса с заплывшими щелками для глаз.

Ева встретила категоричным: «Тебя посадят, имей в виду. Ты едва не убил его! Убирайся!» — и сдернула с пальца обручальное колечко, тоненькое, — а на второе, для меня, не хватило денег. Не скрывая истерики, Ева швырнула кольцо мне в лицо. Я поднял его и положил в карман. Ничего не сказав, а лишь взглянув на спавшего сына, вышел.

Я возвращался пошатываясь, словно пьяный. Слезы текли из глаз, и я впервые не стыдился их.

Как ни любил я мать, пребывание с нею показалось мне невыносимым. Я снял угол у старухи на одной из Мещанских улиц. Старуха указала на тюфячок в полутемной комнате, где на кровати спала сама, а за фанерной перегородкой квартировала молодая проститутка. Та с интересом выслушала мой рассказ, и даже, как показалось мне, пожалела меня, и, когда возвращалась с работы, если я еще не спал, звала меня выпить с нею стаканчик чаю. Мы даже подружились, часто болтали, я рассказывал ей о Сибири. Когда однажды она предложила мне прилечь вместе с нею, а я молча покачал

отрицательно головой, она сказала: «Ты меня не понял. Без денег!» — и я осознал, подобно герою бабелевского рассказа, какую честь мне оказывают. Меня принимают в свой круг — отверженных, неустроенных людей. Мне дают руку помощи в знак солидарности.

Я пересказал этой девушке, как помнил, одесский рассказ и произнес: «Ты мне как сестра». И наши ночные чаепития продолжались в полумраке закутка, где она размещалась, с обоюдной платонической близостью.

Колечко я, конечно, потерял. Возможно, старуха, пошарив в карманах, стянула его. Если на пользу — дай ей Бог.

Так закончилось мое путешествие в Сибирь.

А через месяц позвонила Ева и сообщила:

— Если хочешь, можешь забрать к себе сына. Таковы обстоятельства моей жизни, — уточнила она.

Этими словами я прерву свой рассказ, и прежде чем продолжу, мне хотелось бы кое в чем разобраться. Признаться, я не совсем понимаю, в каком я качестве тут выступаю. Я ведь, друзья, не романист — не судите строго. Боже упаси, не посягаю на лавры тех, кто этим делом занимается. Но мне уже немало лет, я перестал мотаться по стране и собирать информацию о разных достойных внимания людях, не всегда, впрочем, достойных самих по себе, и я сказал себе: «Хватит». И решил попристальнее взглядеться в одного персонажа, с которым был давно знаком, в самого себя. Я хотел понять, есть ли в моей жизни какая-то логика, но даже если ока-

жется, что в ней нет ни одной закономерности, то это само по себе тоже интересно.

Я подумал: в конце концов, каждый человек имеет право вспомнить свою жизнь, разобраться, как он ее прожил. Пересчитать ребрышки себе, своим близким и знакомым — да есть ли у живущих на белом свете занятие более увлекательное?

Позвольте, скажете вы, этим должны заниматься профессиональные писатели. Но я веду речь о праве каждого человека поведать о своей жизни. О той, которая была и осталась в памяти. Попробуйте заняться этим, вам понравится.

Начните хотя бы задумываться, как вы жили? Оглянитесь, что за время было десять — нет, это близко, не получится, — а вот двадцать или сорок лет назад, в самый раз! Где друзья и знакомые, кем стали? Завидуете им? Ах, они не достойны зависти? Возможно. Чаще всего так и бывает. Дело не в сведении счетов. А просто высказать мнение — ведь и в глаза-то не всегда скажешь, а за глаза, на расстоянии, да через годы? Как-то неловко.

Вот и у меня на этот счет повисла проблема. Ни с кем как будто не собираюсь судиться-рядиться, никому ничего не доказываю, ни в чем никого не упрекаю. Понимаю, что пишу почти роман, где подлинность так укуталась в одежды художественности, что перестаешь различать, где граница вымысла. Но все-таки — в памяти встают реальные люди, хотя иных уж нет среди нас. Как с этим быть? Изменить имена-фамилии? Придумать похожие клички? Но все равно — прозрачно, узнаваемо. Мне до сих пор не до конца ясна этическая сторона любых мемуаров.

В этой промежуточной зоне я застрял. Кто я? Как будто — не беллетрист, но и не документалист в строгом смысле слова. Справкою под каждый чих, как носовым платком, не запасся.

Теперь вернемся к московским событиям. Прошло немало лет с того момента, как мы расстались с Евой. Рядом со мною давно другая женщина, и я иногда в ужасе думаю: да как бы я жил, если бы ее не встретил? И вот мне уже тридцать девять.

Глава вторая

НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЙ БИЛЕТ

— Андрей Владимирович! — окликнули меня в полдень на Кутузовском проспекте неподалеку от дома, где я поджидал троллейбус.

Я оглянулся.

Ко мне подходил пожилой господин в бежевом с зеленым отливом, раньше сказали бы: в «гороховом» пальто, перетянутом поясом, и улыбался мне, как старому знакомому.

Дело происходило в феврале, стояла солнечная и морозная погода. С утра меня распирало необъяснимое радостное чувство, впрочем прощительное для здорового мужчины, переполненного энергией. Я неприязненно посмотрел на странного господина. «Проклятый мемуарист», — решил я, мало им редакции, где они бродят тучами, теперь устраивают засады около подземных переходов.

«Но отчего он так радостно улыбается? — подумал я. — Как-то заискивающе и в то же время нагло...»

Если бы я не был так самонадеян, если бы смог трезво оценить обстановку, то понял бы, что меня элементарно арестовывают.

Навстречу мне, улыбаясь, шел старый опер КГБ, а его хрестоматийная внешность была частью профессионального имиджа.

— Послушайте, право, не здесь! — воскликнул я с мукой. — Приходите со своей рукописью в редакцию, там и поговорим.

— Вы меня не поняли, Андрей Владимирович. Нам надо с вами посоветоваться...

И с ловкостью карточного шулера странный человек сунул пальцы за борт пухлого пальто, извлек кусочек красного картона и помахал им у себя перед носом.

— Посоветоваться? — удивился я.

Я смотрел мимо оттопыренных ушей незнакомца и видел, как женщина и ребенок удаляются в сторону арки в доме: это моя жена Наташа и четырехлетний сын возвращаются с прогулки. Сын чертил лопаткой по снегу.

Потом, не раз вспоминая эту минуту, я не мог найти вразумительного ответа на вопрос: почему не закричал им: «Меня арестовывают!» Почему не дал им знака? Мог бы устроить на улице скандал, жена обернулась бы, догадалась — и хотя бы, вернувшись домой, убрала со стола лишнее: Солженицына, Шафаревича...

Фигурки растаяли. С ними отошла в прошлое половина жизни. След на снегу от лопатки затоптали прохожие.

Послушно и как-то даже охотливо пошел я за опером и молча юркнул в черную щель припаркованной неподалеку «Волги».

И понеслась она по московским улицам. Я машинально считал светофоры, а в голове билась мысль: что они знают? Как себя вести?

Ведь десятки раз была проиграна эта пластинка.

Выскочили на площадь Дзержинского, дали круг почета в честь Железного Феликса — сидевший рядом со мной на заднем сиденье господин даже не посмотрел в его сторону, торопливо докуривая сигарету, — втянулись в улицу, потемнело, гранитные утесы укрыли машину от солнца, значит, идем ущельем Лубянки, понял я, теперь поворот направо — зачем же так резко? Мимолетное соприкосновение тел, трогательная близость. Владелец бежевого пальто выровнял грузный корпус, распахнул дверцу и, отшвырнув окурок, уже весь на взводе, командовал без улыбки:

— Пожалуйста, Андрей Владимирович!

Как выглядит здание изнутри, я запомнил плохо, не до того было. Остались в памяти окна во внутренний дворик со стеклами, армированными стальной сеткой. Вместе с моим вергилием мы все же побродили по лестничным маршам, поплутали чуток, не сразу попали в нужный кабинет.

Наконец, вошли.

Приемная была узка, некомфортабельна.

«По птице и прием, — отметил я и подумал: — А может, чекистская скромность?»

Сухопарая дама в очках оторвала от бумаг глаза, взглянула на нас. Не какая-то размалеванная секретарша-кошечка, а свой, проверенный товарищ. «Ясно! — машинально отметил я. — Чтобы посетители зря не делали стоек, не тревожили плоть».

«Щука» — так я ее окрестил — взглянула и без лишних вопросов шмыгнула в кабинет.

Вышла и опять молча — ну, хотя бы словцо произнесла, голосок ее, томящий душу, услышать, — глазами показала: входите!

Спокойно, читатель!

Войди вслед за нами в лубянский кабинет. И если слабость в коленях выдаст волнение, не стыдись его — столько слышано об этих утробах и их обитателях.

Пол покрыт светлым лаком, не задолбан каблучками, как в кинотеатре, куда мы как раз собирались с женой сегодня вечером на фильм Тарковского «Солярис». Ходят тут редко, отметил я. В основном мужчины.

Стены, как и положено, невыразительны, блеклы. С неизменными иконами: Феликс, Лысый, Леня-маразматик... По портрету не скажешь, что язык не выговаривает «систематически» — получается «сиськи-масиськи». Вся Москва потешается по кухням. Людям нужен адреналин.

Стол, конечно, внушительных размеров, как аэродром. На нем папочки на своих взлетных полосах, готовые к старту. «Какая тут моя?»

Мне указали на стул. Я сел. Поднял очи, чтобы увидеть хрестоматийного контрразведчика, выловившего меня, внутреннего диверсанта. Взглянул.

За столом сидел мужичонка в черном, несвежем на вид костюме. Серый, как и его галстук. И имя назвал: «Николай Иванович». Или «Иван Николаевич»? Это, собственно, не имело значения, так как индивидуальности не было, а был тип: партийный секретаришка, причем не первый. И не городского, а задрипанного сельского райкома партии, тогда еще, правда, могучей. Волосенки, зачесанные назад

по русской казенной традиции, были то ли чернявы, то ли русы. И нос без претензии, без горбинки, выдающей утонченные наклонности, и без пугающих тоннелей вывернутых африканских ноздрей, символа грубой страсти. Нет, такой не задушит посетителя на паркете, ибо нос был наш, трудовой, тиражированный. А пальцы рук при этом сплетены на столе. И два больших пальца непрерывно вращались, как маленькая турбина, то в одну сторону, то в другую — знакомый прием бюрократа.

Никаких, конечно, погон, портупей, шпал, ромбов, звездочек, даже значка импортного. Ничего!

Я смотрел, внутренне удивляясь. Вникал молча.

— Ну что, Андрей Владимирович? — турбина добавила обороты. — О чем бы вам хотелось с нами посоветоваться?

И улыбнулся, готовый принять мои роды.

Интересная тактика, подумал я. Никаких конкретных вопросов.

Вопрос — это бездна информации. Задай чекист конкретный вопрос — и стало бы ясно, в каких мы с «Николаем Ивановичем» отношениях. Услышать, чем тут интересуются, — значит понять, где проколся.

Просят «посоветоваться». Обтекаемо!

Я выбил пальцами дробь по столу-аэродрому, пытаюсь сбить обороты гэбистской турбинки... «Так... Значит, посоветоваться хотите?»

— Пока обходился своим умом, — сказал я и улыбнулся открыто, давая понять: я же свой, чего там?

— Да нет, Андрей Владимирович. Есть о чем. Есть! — второе «есть» было произнесено уже жест-

ко. И взглядом придавил для верности: — Сами прекрасно знаете «о чем».

Тогда я решил запустить «дурочку», направить по ложному следу — в никуда.

— А-а... Иван Николаевич!... Из-за Полуянова вызвали? — рассмеялся я невинно. — Из-за него, Николай Иванович?

И, не дожидаясь ответа, боясь, что чекист остановит, скажет: «Нет», я начал подробно и вдохновенно, словно облегчаясь после пива, рассказывать сюжет из недавней истории нашего журнала, того, в котором работал.

— В конце концов, — сказал я, — статья Полуянова — это частный случай. Понимаю, недовольные написали доносы в ЦК и сюда, к вам, но какие претензии к самому нашему делу? Обидно, право! — и я изобразил «обиду». И продолжал, чтобы не перебили предложением «посоветоваться»: — Я говорю о новой рубрике в нашем журнале. Она называется «Нравственность и революция». Речь идет о становлении революционера. Понятно, да? За двадцать минут свободы можно умереть — кто это сказал, не помню... Вы-то, Николай Иванович, знаете, конечно... Силы человека с наибольшей степенью проявляются в звездные минуты революционной деятельности. Берем биографии революционеров, от расплывчатого юношеского протеста до осознанной стойкости. Грандиозная тема, Иван Николаевич! Простите, Николай Иванович. Грандиозная! Потому что революция — как наивысшее проявление гуманистического начала — раскрывает человеческую сущность. Это, если хотите, «забегание вперед». Согласны? Декабристы, как извест-

но, страшно далеки от народа. Разночинцы — уже ближе. А большевики — сами представители народа. У нас провокаторы были и есть, но у нас главное — не партия над народом, а партия, растворенная в народе. Это не я говорю. Это Ленин сказал! Помните? Я близко к тексту цитирую, хотя, допускаю, могут быть неточности. Но не в этом дело, а в том, что революционер становится народным деятелем. И разве плохая, Иван Николаевич, была у нас задача? Выявить комплекс черт, нравственных принципов, которые проявляются в революционере в критические моменты истории. Причем, согласитесь, разные ситуации диктуют различное поведение. На первый план выдвигаются то одни, то другие моральные стороны личности. Возьмем период после поражения. Тут — писаревская идея: самообразование. Что это такое? Это тоже форма революционной преобразовательской работы. Самовоспитание! Понятно — лишь то, которое за пределами полицейского указующего перста. Простите... я не хочу вас обидеть. Вы-то все это понимаете лучше меня, конечно. Наша, журналистов, задача: показать, что в условиях реакции самообразование становится подвигом, а все остальное — подсобным делом. Разве это не актуально? А Чаадаев? Казалось бы, опустили руки, перерезаны вены. И вдруг бурлаки, типа Станкевича, начинают тянуть корабль по пескам. Вот революционная работа! Нелучайно кружок Станкевича перерастает в кружок петрашевцев. Но нарастает революционное движение — и самообразование в этой ситуации становится всего лишь либеральной идеей, противопоставляемой революционной деятельности.

Я сделал жест, как будто выпустил из шарика воздух. И мысленно отметил: «Слушает!»

— Интересно, да? — продолжал я. — Разные периоды, разные люди. Робеспьер, Марат, Че Гевара... Это одно. А Кибальчич и Александр Ульянов — это другая тема: наука и революция. А как люди вырастают в революции? Например, Ипполит Мышкин, Перовская. Ничего, да? Примерчики, что надо! А незаметная деятельность, которая потом складывается в огромные сдвиги, — Бабушкин, скажем. А если по революциям взять? Великая французская. Русские революционные этапы... Парижская коммуна. Домбровский, например. Ну, и Пятый, и Семнадцатый годы мы не исключаем. А сегодняшние горячие точки? Куба, Конго, «новые левые»... Вот так, Иван Николаевич. Нравственный-то идеал — не абстракция, если показать его в лицах. На конкретном материале. Идеал-то был выстрадан в истории...

Я перевел дыхание. Посмотрел на хозяина кабинета: бесстрастен, шельма.

— Ну, а Полуянов? — спросил я сам себя. — Его статья о Герцене, если вы ее имеете в виду насчет «посоветоваться», так она безупречна. Она именно о Герцене, а не о Солженицыне, как вам доложили. И мне плевать! — воскликнул я задиристо. — Плевать на доносы, которые вам пишут! Сейчас не тридцать седьмой год. — И я сверяюще посмотрел на гебиста: ведь так, не тридцать седьмой?

«Секретарь райкома» сидел полным истуканом.

«Неужели я его действительно заговорил?» — подумал я.

Но решил, что этого мало.

— Полуянов — блестящий историк, — подчеркнул я. — Отличный автор! О чем он писал? О Герцене. Именно об Александре Ивановиче Герцене, которого Катков звал в Россию, на Соловки. Так и говорил: «Они по нему плачут». Но Герцен, хотя и тосковал, в Россию не ехал. Полуянов в своей статье изобразил ситуацию 1863 года: польское восстание, лидеры едут к Герцену в Лондон, уговаривают его выступить вместе с ними, а он против, считает — безнадежно. Восстание шляхетское, националистическое, народ не поддержит. Поляки не слушают, ярость против гнета самодержавия кипит — выступают. И все разворачивается так, как было предсказано. Генерал Муравьев, которого так и окрестили: «Муравьев-вешатель», оставил после себя пустыню, тела повешенных вдоль дорог. Страшная картина! Что же Герцен и что Россия? Россия, в том числе демократическая, осудила поляков — ослабляют Отечество. И в этой ситуации Александр Иванович выступает в «Колоколе» со статьей, в которой пишет: нет свободы России без свободы Польши! Нельзя стать свободным народом, пока угнетаешь другие народы! Понимаете, Николай Иванович, какую бурю «восторгов» в кавычках, какую волну негодования вызвал своей статьей этот лондонский отшельник, этот отщепенец, как бы мы сейчас сказали? Ладно, деньги дал на восстание. Отговаривал — но дал. Зачем писать? Ведь вся Россия выла и плевала в сторону поляков. И сказать слово в их защиту значило: тут же быть и самому оплеванным. В России решат: у Герцена в Лондоне крыша поехала, оторвался от страны, ничего не сообщает, устарел.

Поддержать поляков — значит противопоставить себя демократической России, ради которой жил. Это ведь и «Колокол» поставить на карту. И все, все, начиная с первой ссылки, — бросить в яму. А ради чего? Ради чести имени! Такой эфирной, пульсирующей вещицы — как дымок от папиросы. Помните песенку? «Дымок от папиросы, дымок голубоватый». Там — эфир, а тут — «Колокол», тысячи экземпляров, завозившихся в страну, мощное оружие в борьбе с самодержавием. Такое, что дрожали генерал-губернаторы, читая разоблачительные материалы Герцена, который, сидя в Лондоне, элементарно снимал их с работы. Так он свалил Муравьева-Амурского, другого Муравьева, не того, который вешал. Катков называл Герцена «властью тьмы» — не без уважения. Так что же? Все это гигантское практическое дело — за дымок от папиросы? Да промолчи! Все равно полякам уже не поможешь. А Россия, если выступишь на их стороне, особенно молодежь, — отвернется... И как же поступил Александр Иванович? Он выбрал эфир. Написал статью, про которую Ленин сказал: «Герцен один спас честь русской демократии...» «Колокол», действительно, после 1863 года пошел вниз, подписка стала падать, а через несколько лет Герцен умер... Ну и какое отношение, скажите, имеет все это к Солженицыну?

Я пристально посмотрел на своего слушателя, ожидая ответа: «Да самое прямое!»

Но тот продолжал молчать.

— Какая связь? — не унимался я. — Солженицын — это современный Герцен, да? Я догадываюсь, кто вам это накатал. Сказать? Но я не отве-

чаю за болезненное воображение каждого, кому наступил на мозоль. Допускаю, я человек резкий и работать со мною трудно. Ну и что? При чем тут Герцен? Статья у Полуянова безукоризненная, я сам редактировал ее, да еще Фома Лямкин, наш редакционный карл маркс, приложил руку. А то, что статья появилась в феврале, когда Солженицына вывезли из Москвы в Мюнхен, так мы тут при чем? Нам планы вашей организации неизвестны. Уже за полгода до этого момента мы держали статью в руках, а за два месяца — отправили ее в типографию. Понятно? Поэтому все у вас белыми нитками шито. И не надо представлять нас окопавшейся в журнале «Младокommунист» группой, разработавшей хитрый план насолить ЦК и вам и для этого приготовившей статью о Герцене как раз к моменту высылки Солженицына из СССР... Это вам надо было? Насчет этого я с вами должен был посоветоваться?

Человек напротив сидел как в полусне. Он отрицательно покачал головой.

Нет, значит? Выходит, я не угадал. Зря полтора часа молот языком.

— Ну, ладно, Андрей Владимирович. Отдохните, подумайте. Все-таки вам есть о чем рассказать. Е-есть!

И меня выпроводили в прихожую — к «щучке», где на стуле дожидался старый знакомый — «опер». Он принял меня из рук в руки, проводил в кабинет напротив, совершенно пустой. У стен расставлены были стулья, и ослепительно сверкал лаковый пол, раздражая холодным блеском. На стене висела огромная карта Родины.

Опер приоткрыл форточку и стал дымить в нее. А я занялся изучением карты — восточных районов, где вполне мог вскоре вновь оказаться.

Полуянов — умница, интеллектуал — конечно, написал замечательную статью, в которой была бездна смысла. И любые параллели — на выбор.

Он приходил в редакцию, пил чай, смотрел своими большими, навывкате, глазами, в которых жила иудейская мудрость, и говорил: «Ребята, как у вас хорошо!»

Он был щупл, и уязвим, и, как десантник, агрессивен, готов на все. Уже несколько лет он не работал и в конце концов оставил попытки служить. Изредка публиковал статьи по проблемам кино, но все реже и реже.

После разгрома редакции «Нового мира» он, как и многие, входившие в круг авторов журнала Твардовского, оказался не у дел. Я, возглавлявший отдел в «Младокommунисте», подобрал часть из них, получилась неплохая команда: Анатолий Стреляный, Лен Карпинский, Андрей Тарковский, Игорь Кон, Владимир Кокашинский, Юрий Буртин, Натан Эйдельман, Геннадий Лисичкин, Юрий Карякин, Генрих Батищев — разные, но все они уживались вместе под крышей нашего журнала. Иные еще не успели напечатать свои статьи, которые мы совместно замыслили, обсуждали, вынашивали, но это не мешало общению, люди просто заходили повидаться — тогда был такой замечательный, «неделовой», лишенный прагматизма и торопливой озабоченности, стиль взаимоотношений между людьми.

На стене, за спиной у меня, висел огромный, склеенный из нескольких листов ватмана, график прохождения материалов — с темами, сроками и фамилиями авторов. Наглядно и впечатляюще. Рано или поздно такая компания должна была привлечь внимание «компетентных органов».

Рафинированный интеллигент Полуянов, нахально нетерпимый в спорах полемист-камикадзе, соседствовал на стене рядом со спокойным, ироничным и невозмутимым Анатолием Стреляным. В жизни они, по-моему, не пересекались. Я не помню, чтобы Полуянов пил кофе в редакционном буфете за одним столом, где закусывал и попростецки ковырял вилкой в общей солонке Стреляный.

Захаживал страннейший человек Генрих Батищев. Этот самобытный философ приезжал в редакцию с синим капроновым рюкзачком за спиной, в котором возил термос с особой водичкой. Вегетарианец, сыроед, махатма — за ним в сомнамбулическом состоянии следовала толпа почитателей, странных высоконравственных юношей и девушек с лихорадочными глазами и отвращением к политической системе, они не хотели участвовать во всеобщей мерзости, а жили коммуной в глуши, в деревне, воспитывали детей, ели проросшее зерно, молились Богу и слушали проповеди Генриха, своего учителя.

Когда Генрих появлялся в редакции, он говорил: «Привет!» — и брал меня или кого-нибудь из моих друзей за лацкан пиджака. Заглядывал проникновенно в глаза и пытал: «Ну, что? Чем живете? Что на душе?»

Удивительна фраза, которую однажды услышал я от него: «Человек есть больше, чем он есть» — смысл этих слов я не сразу понял.

Конечно, Генриху было хорошо с нами. Комнаты неподалеку от улицы Новослободской, где помещалась редакция, никогда не пустовали. Так возник интеллигентский клуб под официозным крылом журнала.

Главный редактор Юлий Уройков еще не носил божьих усов и не имел добропорядочного брюш-ка, а был стройным, не по годам седым, комсомольским функционером, хотя и необычным, писал стихи и имел дома библиотеку, удивившую меня богатством и одновременно сбившую с толку пестротой.

Уройков, приехавший из Башкирии, относился к затеям своего подчиненного благосклонно, смотрел на публику, посещавшую редакцию, с долей легкомыслия, смешанного с эгоизмом, — ему, провинциалу, хотелось с помощью компании, образовавшейся вокруг нас с Фомой Лямкиным, войти в круг московских интеллектуалов.

Однажды Фома задумал устроить бой быков. Вернее, предполагалась коррида: в качестве ритуального животного взяли Юрия Карякина, а роль матадора должен был сыграть художник Эрнст Неизвестный.

К нему в студию, расположенную на Мещанской, мы и отправились.

Тема беседы предполагалась заумная: искусство в эпоху научно-технической революции.

Конечно же, Юлий Уройков, прослышав о встрече, напросился с нами.

— Ты как? — спросил я.

— Я не против, — ответил мудрый Фома. — Тем более что это предварительная встреча. Просто треп! А кроме того, учти: не от нас, а от Уройкова будет зависеть, опубликуем ли мы материал! Пускай привыкает к теме.

— Ну, ты, брат, хитер!

Эрнст Неизвестный, которого я прежде не видел, оказался коренастым мужиком в джинсах и ковбойке. По хозяйски показывал гостям свое запутанное подвальное помещение, тесно заставленное произведениями его труда.

— Тут двадцать лет работы! — произнес он, обводя рукой полки со своими «Самсонами».

Скоро беседа превратилась в многочасовой монолог скульптора.

— Я соперживатель! — произнес Эрнст, театрально вытаращив глаза. — Но не прямолинейно политически. Художник не просто отражает жизнь, не бежит за нею. И не «изучает» ее: поеду-ка я в колхоз, изучу жизнь! Художник создает знаки всеобщности и стремится на помощь растерявшемуся от обилия информации человеку, чтобы вылепить отдельные знаки, символы, которые и помогут ему стать гармоничным.

Уройков сидел, слушал и молчал почти весь вечер, лишь поблескивал седой головой. Я тоже не мешал самовыражению Эрнста, слушал, потом спохватился — разговор, конечно, предварительный, но чего не бывает — и стал записывать отдельные высказывания. Кроме меня, никто записей не вел — ни Карякин, ни Лямкин, ни Уройков. И магнитофона мы не взяли, наивно веря в бесконечность бытия.

Словом, я схватил карандаш и стал записывать за Эрнстом.

А тот вещал:

— Гармония и гуманизм — вещи во все времена подвижные. Гуманизмом является в наше время сусальность. Я думаю, это одна из форм антигуманизма. Во все времена самые великие гуманисты были людьми беспощадными. «Любите ли вы Достоевского?» — спросила меня одна дама. Так же, как можно любить врача, который делает больно, ответил я.

Вдруг Уройков, посчитав себя уязвленным, спросил:

— А что значит художник, средствами искусства утверждающий политику общества, в котором живет?

Эрнст развел руками.

— На этот вопрос мне трудно ответить. Я таких задач себе просто не ставлю. Сикейрос — политик, он член своей партии. А для меня такой задачи не стоит, а есть служба обществу. Например, монумент, который отнял у нас Вучетич, — я же должен был его делать. Те же «самосожженцы» — как я их понимаю. Но тут есть разница между политичностью Евтушенко и моей. Любая скульптура делается многие годы, она статична. Даже «Распятие» — отклик на страдание огромного народа, страны.

Эрнст околдовывал.

— Я был хорошим академистом, но мне стало скучно. Почувствовал, что вру. В самом существе подхода к форме. Студент пятого курса, а конкурирую с Манизером, Томским. Скучно! И я решил: надо что-то предпринимать с собой. А какой опыт?

Никакого! Сейчас молодые люди следуют за Сальвадором Дали, а я только слышал о Пикассо, но ни одной картины его не видел. Коненков казался мне верхом свободной формы. У нас выгнали из института одного парня только за то, что тот сказал: «Пикассо — хороший художник». А вот с точки зрения философского образования я был довольно подкован, у отца были книги Соловьева, Бердяева, но этого мало, чтобы лепить. И тогда я стал вглядываться в себя. Ну вот — война. Если честно, она мною не воспринималась как «парад Победы». Страдание. И я начал делать серию портретов, где страдание входило как некий чужеродный элемент, и появились люди с костылями, я начал осознавать, что делаю арлекинские существа, где половина — маска. Потом пошла серия «Роботы и полуроботы», ассимиляция металла и человека, персонифицированных в одном существе. А потом все это начало складываться в гигантоманию, и теперь, читая Достоевского, я понимал: это меня волнует.

Карякин вспомнил:

— У Вознесенского есть стихи: «Лейтенант Неизвестный Эрнст...»

Эрнст отмахнулся:

— Да ну... Я знаю настоящих фронтовиков, они к жизни относятся странновато. Иногда забывают, что могли умереть, а иногда и не забывают... Случается, меня охватывает волна счастья. Я бесконечно много работаю, день для меня — подарок. Ведь его могло и не быть. Конечно, не обязательно для этого переживать войну, Микеланджело ее не пережил, но он был католик. И вот сейчас, оглядываясь назад, я вижу: наибольшие ценности создало

все-таки военное поколение, хотя есть и необозримые гады... И когда я вот так однажды оглянулся назад, я вдруг понял, что я не живу. Многого, что есть вокруг, просто не знаю. Пришел к Евтушенко, он брился, брызгая себя какой-то душистой пеной. Я попробовал: чудесно! А Женя посмотрел на меня, как на дурака. Ну найдется ли в Москве еще один человек моего ранга, который не знает этой штуки, ни разу ее не испробовал? У меня нет хорошей мастерской. Почему? А я так привык. К плохой. И ворчу лишь тогда, когда задыхаться начинаю. Никогда не ездил за рубеж. У меня была поговорка: «Индию я придумаю в кровати...» А потом поехал в Югославию и понял, что даже ее не придумаешь. Я в сорок два года впервые поехал на юг. А у некоторых война породила какой-то гедонизм... Я себе напоминаю женщину, которой все говорят, что она красива, а гребут других. Я выигрываю конкурсы, обо мне пишут. Вот в «Комсомольской правде»: «Часто сравнивают Эрнста Неизвестного и Микеланджело. Между ними есть только одно общее — оба они гениальны». Видите? А работать не дают. Я поставил крест на том, что мне когда-нибудь дадут сделать монумент в Москве. Сейчас начальство ничего не решает, решают дворники. Да, мне позволяют работать на банальном уровне. Я даже оторвался от своих коллег — зарабатываю больше. Вещи, сделанные много лет назад, вдруг пошли. Но все это трагично! Времени остается мало. И чтобы получить сейчас серьезную работу, мне нужно потратить уйму времени. Чтобы мне заказали «Портрет авиатора», должен вмешаться Ренато Гуттузо. Это чудовищно! Худо-бедно, меня

уговорили, что я большой художник. Так дайте работать! Я говорю: «Братцы! Ну, дифференцируйте. Придите, отложите: это вправо, это влево». Нет, не хотят. А государству не до меня. Косыгину разведчики доложили, что Кекконен хотел бы получить от меня скульптуру, и он ему ее подарил, но это его частное дело. Во времена Сталина подобное стало бы сигналом к реабилитации. А теперь? Я показал работы, и представитель министерства культуры морщится: «Давай какую-нибудь поменьше...» — и выбирает какую похуже. Кекконен, президент, написал мне личное письмо, так я о нем полгода не знал. Все решали — вручать, не вручать? Моя фамилия вызывает социально-однотипную реакцию. Просят оформить утверждение какой-то моей работы, и человек, который должен решать, откровенно говорит мне с глаза на глаз: «Эрнст, я за вас, но жить-то мне с Кербелем. Извините, я займу такую позицию, будто я к вам очень плохо отношусь». Все замыкается на среднем слое. Меня оскорбляет, когда работа, которую я сделал для Зеленограда, идет на Госпремию первым номером и как скульптор, как соавтор — я гожусь, но упоминать мое имя в статье в «Правде» нельзя: вычеркивают! Или, например, посылают в командировку, и ни у кого не вызывает сомнения, что едем втроем, я с архитекторами, но вдруг команда: «Неизвестного не нужно брать». Как? Там же будут художники! Семинар! Нет. И опять: «Я к нему очень хорошо отношусь, но у меня начальство». Да какое начальство? Он сам — начальство! Нет, не берут. Почему? Да просто потому, что кто-то в кабинете шепнул: «На хрен тебе этот Неизвестный?» — просто сбол-

тнул. И все! Я помню, Фурцева мне объясняла, как она меня любит, но ей «не разрешают». Я ответил: «Ваши же коллеги». Она мне говорит: «Я буду разговаривать с вами не как министр культуры, а как женщина. Ну как вы прекрасно сделали вот эту мраморную головку!» — и указывает на мою студенческую работу. Ну что ответить ей «как женщине»? Поэтому я и работал со всякой «чучмекией». На армию работал. Один генерал в закрытом городке мне сказал: «Эрнст, не волнуйся, работай спокойно. Поставим солдат, никого не пустим, никакой худсовет». Да-а, худсовет... Какие-то безымянные лица. Никто их не знает. Я не знаю, что они лепят. Какой-то закоренелый середняк. Причем живут — министры так не живут. Халтурят по-страшному. Ленина лепят. И именно они задают тон. А кто я? Штрейкбрехер. У меня был договор на 350 метров, я сделал 970 — бесплатно. Потому что изголодался по работе. А с Кербелем говорить бессмысленно. Я его знаю, работал у него истопником, когда был студентом. Это циник. Серов — глубоко идейный человек, он мне говорил так: «Эрнст, сделай реалистическую работу, и я тебя поддержу!» — и не врал. Но большинство-то циники. Один такой, напившись в этой мастерской, целовал моего «Орфея» и клялся, что поможет. Но ничего не сделал. Между прочим, Фадеев знал цену Мандельштаму, но у него в кармане был партбилет. Сейчас же игра идет в открытую. Для таких, как Кербель, все ясно, и они похожи на лозунги, которые никто не читает. Вы видели хоть одного кретина, который бы любовался их работами? Они не отвечают ничьей потребности — только своей, корпоративной... Один босс

с Лубянки спросил меня: «Что вам нужно, Эрнст?» В ответ я задал ему вопрос: «Вы часто видите памятник Дзержинскому?» Отвечает: «Да, конечно. Каждый день». — «Вспомните, — спросил я, — в какой руке у него шапка?» Чекист не ответил. «Вы ведь по профессии должны быть наблюдательны, — сказал я. — А «Медного всадника» помните?» — «Помню!» — «А «Первопечатника»?.. Тоже, оказывается, запомнил... Вот и всё. Работать так, как работает Кербель, — могут все. Но искусство не может жить, когда решает «большинство художников». Представляете голосование: быть или не быть Сикейросу? Или «Преступлению и наказанию»? Вы спросите — почему Вучетичу везет? Потому что он — армейский скульптор. Художественный совет не принял у него «Сталинграда». Ели и пили на банкете, который он устроил, но не приняли. Тогда он их выгнал и свистел им вслед с балкона в четыре пальца — зато армия приняла! В итоге все индивидуальности внутри МОСХа отсечены. Ну, не будет меня, не будет Глазунова. Что им тогда делать? Гнить! Яркие индивидуальности всегда жаждут процветания всех, кто не в их ключе. Дейнека давил всех, кто на него похож! Для меня Лактионов — радость. Он оттеняет меня. А средний московский халтурщик просто не возьмется за крупный заказ. Зачем? Легче вылепить «трех Калининых» — вот критерий подхода. Ленина лепить — четыре часа, а он насобачился — с закрытыми глазами может... Я поехал в Польшу — какое разнообразие жанров, стилей. И все — в одном творческом союзе. Польша была такая же замкнутая страна, как мы, но в силу пижонства поляки начали резко «леветь»: очень переживали, что они не пари-

жане. Почему бы не полеветь и нам? Я бы облепливал новые города для ученых, а кто-то старался бы для колхозов. У нас гигантский рынок, всегда хватит потребителей. Но нет! Идет борьба. И не идей. Борьба идет просто за деньги и звания. У себя дома они имеют «абстракционистов» и всё в искусстве понимают. У них есть один эксперт, которого они возят с собой, как лакмусовую бумажку, который, оценивая, говорит: «Да, это мне нравится! Тут есть что-то антисоветское...»

Эрнст неожиданно умолк. Аудиенция закончилась. Да и время было позднее, надо успеть на последний поезд метро. И чайник — пуст.

Вышли на улицу. Карякин побрел к себе. Мы трое — Уройков, Лямкин и я — еще долго стояли внизу на платформе станции «Проспект Мира» и, пропуская поезда, жестикулировали, как алкоголики. Обсуждали услышанное, обменивались впечатлениями.

Уройков был потрясен. Открывал, как рыба, рот, пускал пузыри и произносил одно и то же:

— Какой человек... Какой человек!

Мы с Лямкиным мысленно потирали руки: значит, проводим беседу и она будет напечатана, уговорили Уройкова. В этом была немалая сложность — включить главного редактора в свою игру, сделать его союзником.

Наконец, расстались. Прощаясь глубокой ночью, Фома Лямкин подмигнул мне:

— Порядок! — и глаза его, похожие на две маслины, лукаво блеснули в свете ламп метро.

А утром, когда подтянулись к редакции, Юлий Уройков уже сидел в своем кабинете и руки его

были покрыты красными аллергическими пятнами. Плохой признак!

Не удостоив Лямкина чести, он вызвал только меня.

— Значит, так... никакой беседы с Неизвестным. Мы ее Карякину не заказываем.

Я попробовал возразить, но главный редактор жестом показал, что разговор бесполезен.

Я вышел из кабинета. Рассказал Фоме, и мы живо представили, как могла произойти такая перемена. Рано утром, напившись кофе и мурлыча мотивчик, наш главный редактор позвонил кому-то из своих дружков в аппарате ЦК комсомола, похвастался, где вчера провел время, в каком богемном подвале. И этот некто сказал ему по-свойски: «Башкир ты наш ненаглядный! Провинциал ты наш комсомольский! Поэт ты наш! Да знаешь ли ты, к кому попал? В самое логово диссидентов! Проверь, у тебя задница хорошо к стулу прилажена? Ничего не мешает? Вот и сиди, не рыпайся. Ты еще плохо в Москве ориентируешься. Правильно делаешь, что советуешься... Будь здоров, с тебя бутылка!» — и Юлий поехал на работу. По пути он очень волновался в служебной машине. Внимательно осмотрел стул, потрогал его, проверил на прочность. И позвал меня, которому и симпатизировал, и больше доверял, в отличие от Лямкина.

А когда позвал — это уже не фантазия, а так и было, — сказал мне откровенно:

— Я не хочу видеть небо в клеточку.

Вспоминая все это, я изучал карту.

Я любил путешествовать от кружочка к кружочку, по паутине дорог, по синей лимфатической

системе речек, пробираться среди штрихов болот в сторону коричневых плоскогорий.

Смотрел и думал: чего мне не хватало? Ведь уже напечатали Батищева, Буртина, Стреляного, Лисичкина. Да и Карпинского! И Водолазова с его «Робеспьером»! И даже Эвальда Ильенкова! А своя, домашняя, серия: Лямкин и Сыпко — эти их «бабёфы» и «мелье» — мало ли? Ведь все публиковал Юлий Уройков, хотя и кромсал. Конечно, самолюбие моих друзей страдало, но это читателя не должно касаться. Это шум, помехи, фон истории. Главное — мы создали авторский коллектив. И дело организовано как надо: рубрики, разделы, все осмыслено. Студенты в МГУ читают «Младо-коммунист» в списках — подумать только! Им наплевать на остальные официозные разделы, где резвятся Урюпа с его пропагандой, Шахердин с его антиалкоголизмом, фанатик Дима Урбанов с его комсомольской «машинерией» и Гарий Аперсян с его «ялдой» — партийным ядром в комсомоле. Читатель не глуп, он отбрасывает все это, как мусор. Буквально, вырвал, что надо, а остальное выбросил.

Нет, мне захотелось большего. Захотелось «странного».

У кого это были «странные»? У Стругацких?

Вот теперь и сижу тут, смотрю на карту, применяю к себе местность.

Работа с Уройковым была сродни искусству. Необходимо было учитывать его стремление к самоутверждению. Уройкову нужна была опора, и мы с Фомой постарались дать ее ему.

Когда требовалась срочная справка для ЦК, Уройков вызывал меня к себе. Иногда он сразу го-

ворил: «Лямкина захватите!» — и мы шли в кабинет и шиздили там часа два, а Юлий своим бисерным почерком записывал. Надо отдать ему должное, он никогда не требовал готовых текстов.

Случалось, появлялась потребность в материале литературного свойства, и тогда мы превращались в литературных критиков и разглагольствовали по поводу новой повести Тендрякова, а рука Юлия мелькала со скоростью, на какую только была способна. Потом в журнале печатались статьи за подписью главного редактора. Ни я, ни Лямкин не комментировали по этому поводу, считали: нормально.

Мы помогали ему, а он не особенно влезал в нашу кухню. Естественно, мы не посвящали его в свои затеи.

Как-то я удостоился приглашения в дом и даже выпил с Юлием бутылку «Наполеона». Но отношения у нас, тем не менее, оставались официальными. Строго на «вы». И в делах — когда составлялся план публикаций на квартал, я не забыл «борьбу с антиподами коммунистической морали» — условность и маскарад сопутствовали журналистской деятельности постоянно. А когда приходило время отчета, я каялся: «К сожалению, недостаточно привлекались для выступления партийные и комсомольские работники».

Отдел, которым я руководил, официально именовался «отделом коммунистического воспитания». Меня и моих друзей это не коробило. Таковы были правила.

А жили мы весело. Служебный быт вовсе не представлялся нам сумрачным. Сидя на совещаниях у начальства, мы посылали друг другу смешные

записки. Придумывали лозунги, типа: «Социализм и алкоголизм — совместимы!» — и подписывали: «Влас Шахердин», который рьяно противился пьянству — еще до Лигачева.

Влад Белов, едва ли не самый близкий мне человек, знакомый еще по «Комсомольской правде», который теперь тоже работал в «Младокоммунисте», веселый остроумец, неунывающая птаха, сочинял стишки:

*Хорошо быть старым, старым,
Старым, старым,
Очень старым,
Очень-очень-очень старым,
Старым большевиком.*

А может, это не он придумал, а другой мой приятель — еще с институтских времен — Лев Макеев, теперь тоже, после многих лет «свободных хлебов», приземлившийся у нас в редакции?

Они любили насиловать армянскую фамилию заместителя Уройкова Гария Аперсяна.

Подбирали бесконечные производные: Гарий Импотян, Доходян, Обалдевян, Поклепян, Очернян, Извращян, наконец, Бегемотян и Слонопотян.

Белов, полысевший, но бородатый, с приветливой улыбкой, прилипшей к нему, как маска, — он действительно был милым человеком, которого обожали все, а редакционные девицы в нем просто души не чаяли, а я много лет полагал, что у меня нет более близкого и понимающего с полуслова товарища, — даже Фома, идейный соратник и единомышленник, отодвигался на второй план, — так

вот, Влад Белов в этой игре, конечно, тоже был мишенью — и был Пасквилян, Павиян и Кобелян.

А печальный, молчаливый Фома Лямкин, разговорить которого удавалось лишь после третьей чашки кофе, был Улучшан, Уточнян и Научан — так как защитил кандидатскую по философии — и, разумеется, Неотъезжан, в силу идейных соображений, а не только «пятого пункта».

Сам же Уройков был Раздражан, Наблюдан, Направлян и Припоминан. А когда нужно — и Отмолчян.

Обо мне же писали, что я — Осмеян, Ухмылян, Втихаряразвлекан и Себенаумян.

Так мы коротали время на затяжных партийных собраниях, передавая записочки друг другу. Нас это веселило, скрашивало скуку.

Перед одним из таких собраний умник Белов повесил на стену лозунг: «У каждого гения должен быть свой Лямкин!»

И подписал: «Лушин, гений».

Объектом постоянных шуток была секс-звезда Адель Риго — ее звали просто Ада. Считалось, что она поочередно соблазняет каждого из нас. Перед тем как появиться в редакции журнала, она немного поработала в институте социологии и в критические моменты могла сразить Уройкова научным термином.

Ада работала в отделе у Лямкина, и когда тот получал занудную статью и перекидывал ее на стол Аде, та быстро расправлялась с ней. Она сочиняла письмо автору:

«Уважаемый ученый сосед! — писала она на редакционном бланке. — Наше отношение к вашей статье амбивалентное. На вербальном уровне

можно заметить недостаточную лабильность групп. Кроме онтогенеза, существует парагенез. Судя по вашей статье и моему ответу, мы находимся с вами в одном фазисе — фазисе рационализма. Мой же начальник уже вышел из фазиса эмоционализма, но еще не вошел в фазис волюнтаризма (или волевого императива), минуя фазис динамизма. Потому он может меня использовать лишь как Ваньку Жукова: посылает красть в буфете стаканы и ихней мордой тычет мне в харю. Простите мне невольный эмоционально-интеллектуально-волевой детерминизм. Вернемся к вашей статье. Напечатать ее мы не можем, потому что не можем это сделать никогда. Научный консультант Риго».

Ада подкладывала такое письмо Лямкину в общей пачке заготовленных ответов — а по заведенному порядку вся почта просматривалась начальством, — Фома просекал только на Ваньке Жукове, но иногда и не просекал, ставил визу и отдавал в печать.

После этого все шли в буфет пить кофе. Все, кроме меня, пили медленно, но медленнее всех — Лямкин. Он мог с одной чашкой просидеть час в буфете.

Вспоминая те посиделки, я не перестаю удивляться: как такое могло быть? Мы никуда не спешили, никто нервно не поглядывал на часы. Место работы как бы перемещалось на другой этаж, за столики, где и посиживали час-другой, обсуждая свои проблемы. Без зависти друг к другу, не озлобленные «контрактами», наслаждаясь неторопливым течением времени, которое потом нарекут «застоем».

В буфете мужчины разглядывали крутые задки молоденьких сотрудниц, чем приводили нашу редакционную львицу на грань бунта, и говорили о политике.

...«Опер» незаметно подошел ко мне, задумавшемуся перед картой, остановился за спиной, каким-то образом угадал направление моего взгляда, блуждающего по карте.

— Да-а... Магадан! — вздохнул он о своем. — Солженицын выдумывает черт знает что! Заключенные откопали доисторического тритона, тот оттаял и пополз. И они его с голодухи съели. Надо же так врать!

— Писатель... — промямлил я. И спросил: — А вы бывали в тех краях?

— Приходилось.

Почему они так долго держат меня в этой комнате, размышлял я. Что за отдых, в самом деле? Может, поехали домой, застали Наташу врасплох? Искать не надо — все на столе.

Все равно, если даже поехали, почему так долго? Формальности какие-то или Наташа пошла по магазинам? Без нее они не вломятся... Без нее — это уже совсем обнаглеть... Так, так, так. Сейчас привезут и начнут выкладывать передо мной «художественную литературу».

Что у меня там лежит?

Голова не соображала, не мог вспомнить... Солженицын, понятно. Сборник «Из-под глыб».

Я никогда не вел дневников, ограничиваясь эпизодическими записями на случайных бумажках. Где эти записки — я и сам не найду. Да, подумал я,

найти их — время надо. К тому же, в них без поллитра не разберешься.

Так, рассуждая, я натолкнулся на мысль: не мешало бы перекусить!

— Командир! А как насчет пообедать?

— Пока команды не было.

— А отлить?

— Это можно! — улыбнулся тот.

Наши желания совпали, ничто человеческое ГБ не чуждо. И мы провели несколько минут в обстановке прелестного казенного сортира, сверкающего кафелем. Я посмотрел на себя в зеркало: бородка какая-то несерьезная, донжуанская. А если попробовать нахмуриться и вытаращить глаза? Изобразить негодование? Вот так...

На душе стало чуть легче.

Конвоир, не бросая службы, тоже облегчал свою совесть, отягощенную магаданскими воспоминаниями.

Я стоял у писсуара, ждал. И думал: откуда во мне такая рабья покорность? Мог бы дать этому господину коленом по задку, чтобы оседлал писсуар, как буденновского скакуна. Не убьет же он меня! Зато потом будет что вспомнить. Нет, я стоял и ждал, пока опер отольет. Да ведь в два прыжка — и за дверь! Не побежит же он за мной со струей. Успел бы куда-нибудь нырнуть — здание запутанное, — зашел бы в любой кабинет, показал журналистское удостоверение. Они же весь свой гэбешный мир обо мне не оповестили. Но как выбраться? Наверняка охране у дверей передадут — засечь! У них тут отработано.

Болтун Белов придумал мне прозвище: «Экстремист».

Ошибся. «Видел бы он, как я дожидаюсь, пока конвоир задержается в судорогах у писсуара в последнем аккорде».

И побрели — я впереди, опер позади — из стальной свободы назад к карте Родины, на ее просторы, в тесноту ее «шестой части суши».

И тут меня осенило: «Верноподданность — да это же мое спасение!»

Надо держаться с ними как свой. Очень свой, хотя, допустим, с придурью. Придурь — это идеализм, нравственные принципы, ложно понятое товарищество. Например, провожал Полуянова, уезжавшего из страны. Возил его на машине по Москве, ездил с ним в ОВИР. Но на сходку его не ходил — на ней, и право, я был бы чужой. Так и сказать: лично Полуянову помог! А как же иначе? На Арбате, когда прощались напротив ресторана «Прага», поцеловал его — это они могли засечь. А что Полуянов нес в своем портфеле, когда шел сдаваться в иностранное посольство, я не обязан знать. И если прохлопали, это не моя проблема. Полуянов уже полгода как за океаном. Отстукивает с фотопленок свой докторский диссер про еретиков России... Да, поцеловал его, расставаясь. Нормальный жест! Прощались идейные товарищи — чего скрывать? А если тут против наших идей, тогда встает вопрос, кто они сами: не сталинцы ли, тоскующие о лагерях? Надо заорать на них криком новорожденного двадцатого съезда, чтобы вся Лубянка услышала мой верноподданный вопль!

И я, почувствовав, что шаг мой стал уверенней, уже без прежней робости вошел в приемную

к «щучке». Та сделала глазами «оперу» знак, и меня развернули к другой двери.

Я понял: второй заход.

Иван Николаевич улыбался как ни в чем не бывало.

— Ну что, Андрей Владимирович? Подумали? Вспомнили? Вы же неглупый человек. Мы не приглашаем... когда нет оснований.

— А вы не приглашали, вы притащили, — угрюмо ответил я, решив: будь что будет, попробую реализовать свой замысел, авось вывезет.

— Ну зачем же так? У нас все по закону.

— Вот вы насчет «оснований» толкуете, — сказал я. — И какие же у вас основания?

— Вы это сами знаете, — завел чекист старую песню. — И лучше, если вы сами...

Но я не дал ему договорить. Не ожидая от себя такой прыти, я заорал благим матом:

— Послушайте, вы! Как вас там, Иван или Николай? Какие основания? Какие, к чертям, у меня могут быть с вами откровения? Вы что на себя берете, вы ...! — Я захлебнулся, подбирая слово, я вполне искренне был возмущен, забыв, что «оснований» у моего визави было более чем достаточно. — Кто вы такой? Я член редколлегии «Младокоммуниста», а вы кто? Какого черта вы треплете мне нервы? По старым временам истосковались? Вот выйду отсюда и расскажу о вас. Вы хоть соображаете, что творите? Хватаете человека на улице. Меня на работе ждут. Дел по горло. Домой, небось, звонят, разыскивают, жена с ума сходит. Что она должна думать? Где я? В морге уже? Нет! Я тут сижу. У вас. Исповедуюсь. Не знаю, в чем, не знаю, перед кем.

О Герцене рассказываю, о Солженицыне... Как в детской игре: холодно, горячо... Я вам рассказал про Полуянова. Да, да, да! Провожал его, на машине возил. Чего еще надо?

Меня трясло, как эпилептика. Мое состояние невольно передалось гэбисту, было заметно, как его напрягло изнутри, волна вдоха прошла по черно-белой груди. Вдруг он выхватил из ящика стола и на секунду показал мне зеленый переплет книги. Зловеще мелькнули буквы: «Из-под глыб».

— Вам этого хотелось? Да?

Ах ты разведчик хренов, колхозник-кукурузник, наверняка из парработников — профессионал бы так не поступил.

В десятую долю секунды — лишь на миг увидел эту книжицу, я сообразил: не моя!

Не мой экземпляр мне тут демонстрируют, не из моего дома взята!

Уже легче.

— Чего хотелось? — переспросил я грубо.

Да, книжка не моя, значит, дома они не были. Точно такая же, но затрепанная, зачитанная, лежала на моем столе.

Но многозначительное «этого хотелось», брошенное мне в лицо офицером госбезопасности, расплющило об асфальт. Иллюзии исчезли: ошибки нет, я не зря здесь сижу. Предстоит защищаться, и схватка пойдет на уничтожение. Выхваченная из ящика стола зеленая книжка дала мне бездну информации. Не хотелось ли выпускать в самиздате подобный сборник? Вот, значит, что интересует господ офицеров... Наконец-то «Иваныч-Николаич» прокололся — долго я ждал этого момента.

И решил, что надо закрепить маленький успех. Вскочил со стула, чем напугал хозяина кабинета, и бесновато закричал про двадцатый съезд. «Иваныч-Николаич» не ожидал такого поворота.

— Я как боролся со сталинистами, так и буду с ними бороться. Оказывается, они тут, в комитете госбезопасности, свили гнездо. Тогда закрывайте журналы, сажайте нас пачками, но оставьте свои гнусные намеки. Или, может, вам известно то, что неизвестно нам? Может, партия реставрирует прежний режим? Но если это не так, если не реставрирует, то чем вы тут занимаетесь, собственно говоря? — прокричал я в лицо человеку, которого уже искренне ненавидел. — Да вас надо разоблачать, вы же идете против линии партии. У нас свой такой в редколлегии есть, старый большевик со слуховым аппаратом в ухе, не вами ли, кстати, вставленным, мешает работать, рубит статью за статьей, а если мы его не слушаем, кладет статью в портфель и несет наверняка вам, подлец. Но он — профессор ВПШ, его можно простить, он марзматики, выжил из ума. Но вы-то помоложе! Вы-то чего? Не понимаете, что мы делаем, чего хотим? Не видите, что страна, как лунатик, бредет в темноте, ощупью? От лозунга на одной трубе — к призыву на другой. От разукрашенного забора к забору. От путепровода — к путепроводу. И на них — всё лозунги, лозунги... Про единство и заботу. Кто их читает? А нас, между прочим, наш журнал стали читать. Молодежь стала читать. И про что же мы пишем? Про Герцена, про Робеспьера! Объясняем людям, как сохранить нравственность в революции. Вам это неинтересно? Но это ваше личное дело. А наше

дело — как раз вот это! И мы ни на шаг, слышите, ни на сантиметр не отступим от наших идей. Понятно? Какие еще ко мне претензии? — закончил я свой страстный монолог.

И тут мой слушатель не выдержал. Издав нечленораздельный звук и пристукнув кулачком по столу, он закричал не по службе, с обидой:

— Вы при своем пакете! А я — при своем!

Вон оно что — понял я. У каждого, значит, своя работа. Подневольный, бедолага!

Это выражение: «При своем пакете» — понравилось мне, и я запомнил его на всю жизнь.

И замолчал, насупившись, всем видом выказывая презрение к собеседнику и нежелание больше с ним разговаривать. Паа-шел он, решил я. Нервы и правда, не театрально расходились. И есть не дают!

Так и сказал:

— Какой уж час сижу у вас, голодный... Вы-то, небось, отобедали?

Николаич встрепенулся: забрезжил контакт.

— Ну, это мы моментом организуем!

Вплыла секретарша с подносом. Я скосил глаза: стальной подстаканник — фирменный знак учреждения, — и в нем слабоокрашенный чаек с ломтиком лимона, бутерброды и что-то вроде сушек. Все мизерное, сморщенное. Экономят, как китайцы.

Я подумал: да ну их, с их гуманизмом... Потерплю.

— Не надо! — отказался я и, рисуясь, добавил. — Если я арестован, вы меня все равно на довольствие поставите. А если не арестован, выпустите. Потерплю до дома.

В душе меня терзали сомнения: верную ли выбрал тактику защиты? Как бы в азарте не наговорить им лишнего? Заповедь Исаича: по возможности не вступать с ними в беседу — я помнил. Но если этого избежать никак нельзя, учил Солженицын, то прежде чем на допросе ответить, надо досчитать мысленно до десяти.

«Теперь буду так: он спрашивает, а я молчу и считаю в уме — раз, два, три... девять, десять». Конечно, в то, что я «свой», они ни на секунду не поверили, не надо иллюзий. Но я получил передышку. Никаких агентурных данных этот Иваныч мне не выложил, только намеки, хотя и красноречивые. Не хотелось бы нам соорудить такой сборник? Да конечно, хотелось бы, следопыт ты мой зоркий! Только где ты нас засек, это неясно. Как, впрочем, не уверен, засек ли вообще. Не на понт ли берет? Так что я правильно «кошу» под нормального советского журналиста, чья честь затронута, — решил я. — А что нетерпимый и нервный? Так довели!

В очередной раз меня проводили в комнату напротив и опять оставили наедине с белобрысым господином. Кто он? В каком звании? Не рядовой. Не зря провел годы на Колыме — «наколымил» себе службу в центральном аппарате. Сыск, он вечен, при всех режимах.

Но внешне вежливы, этого не отнимешь.

Охранник изредка курил, стоя у форточки, отравляя «волю». А та не хотела принимать его углекислоты, выбрасывала ее назад вместе с морозным парком.

Работа у него непыльная, подумал я. Сколько, интересно, платят? Да уж не меньше, чем мне.

Я подошел к другому окну, отдернул занавеску — охранник не запротестовал.

За окном посерело, день завершался, сверху видна была улица Кирова в самом устье, с потоком выливавшихся на площадь машин. Сколько раз я тут проезжал и не думал, что кто-нибудь посматривает сверху щеглом из клетки.

Детство и юность прошли здесь, неподалеку от мрачныхзданийгосбезопасности, среди сретенских переулков с их бесчисленными проходными дворами. Однажды со своим дружкой Костей Воровским, тем самым, с которым, когда оба подросли, выясняли, где сподручнее проявить себя как личность, я, маленький и худосочный семиклассник, возвращался с новогодней елки из Дома союзов. Костя, парень покрепче и повыше, сибирячок — родители привезли его из шахтерского Кузбасса, — уверенно шагал впереди вдоль стены того самого здания, где теперь я дожидался развязки этого странного дня. И почему-то Костя решил обойти этот неприступный, как крепость, дом, хотя путь на Сретенку пролегал напрямик, короче. На широких, тщательно выметенных тротуарах не было ни души, народ без нужды не жался к этому дому, а особенно со стороны площади. Было пустынно, мела поземка, как и теперь. Я плелся за приятелем в двух шагах от него. И вдруг Костя замер, секунду помедлил и — цап лежавший у стены черный кошелек. Я даже не успел крикнуть: «Чур на двоих!»

Посмотрели: в кошельке было тридцать рублей. Огромные деньги.

Все мальчишки мечтали найти клад. Я даже во сне видел, как захожу в телефонную будку и обна-

руживаю на полу среди окурков коричневый чемоданчик с блестящими железными уголками, а в нем внутри — пачки сторублевки.

Воровский еще раз пересчитал деньги, отложил пятерку и протянул. Это был жест великодушия. По суровым сретенским правилам находка принадлежала ему одному: на чужой каравай рот не разевай, двое дерутся — третий не лезь.

К семнадцати годам, начитавшись книжек, мы стали другими. За неимением поблизости Воробьевых гор, стояли на бульваре на крутом спуске к Трубной площади и, как Герцен с Огаревым, обещали посвятить себя чему-то прекрасному. Под нами была крыша общественной уборной, а рядом массивная бетонная плевательница, немая свидетельница наших высоких порывов. Об эту плевательницу, катаясь на лыжах, разбил мужское хозяйство интеллигентный мальчик. Обычно же для спуска мальчишки использовали самодельные сани, сбитые из досок, с прилаженными внизу коньками. На такую платформу наваливалось несколько человек, а тот, кто оказывался внизу, самый сильный, терпел и управлял рулевым коньком. Задача была вильнуть вправо или влево и по одному из узких спусков выкатиться на Трубную площадь.

Вспоминая, я поражался, как инфантильны мы были. Как долго не целовали девчонок, а все стреляли им по чулкам из маленьких рогаток изжеванными бумажными пульками. Ходили в библиотеку в переулке Стопани или сидели в Тургеневской читальне, на месте которой теперь безобразная плешь. А то вдруг отваживались за компанию отправиться воровать на Сухаревке голубей. Двор

у нас был бандитский, как, впрочем, и остальные дворы, меня самого худо-бедно признавали за своего, хотя я не воровал и не учился в ремеслухе, как остальные. Окруженный деревянным забором, с двумя флигельками, оставшимися от снесенной церкви, двор жил своей таинственной жизнью и чужих не любил. И однажды Костю, который захаживал ко мне, поймали и слегка побили — за очки на носу.

Я улыбнулся.

Всю жизнь Костя Воровский рядом со мной. Вот и теперь он в редакции ждет меня. Наверное, позвонил Наташе, а та сообщила, что я давно отбыл на работу, и попросила напомнить, что мы идем в семь вечера на фильм Тарковского «Солярис».

Я взглянул на часы — теперь уже скоро. Успеть бы! Надежда не покидала меня.

Сосед докурил, захлопнул форточку. Исчез московский гул. Я постоял у подоконника еще минуту. Отошел, выбрал стул в дальнем углу комнаты. Ладно, посидим, подумаем.

Почему я — это я? Говоря словами поэта: «... разве мама любила такого?» Что нас делает такими, какими мы становимся? Обстоятельства? Или что-то еще? Почему я стал таким, каким я стал?

Ведь все начиналось банально в родильном отделении «кремлевки» в середине тридцатых. Рядом на койке мучилась сноха Ворошилова и разрешилась Климом. Это я узнал много лет спустя от матери. Узнал и то, что домой в пятикомнатную квартиру на Арбате меня везли на отцовской персональной «эмочке» и шесть домработниц и нянек, безжалостно увольняемых отцом, сменяя

друг друга, стирали мои пеленки. Банальной была и гувернантка-француженка, за кусок хлеба учившая меня с помощью игральных карт и песенок птичьему языку своей страны. Песенки запомнились — нет-нет да напою мотивчик, не понимая смысла слов: «Пан кес ке ля сэ, полишинель, мамзеле, пан кес ке ля сэ, полишинель, кивля».

Что еще за «кивля»? — занимало меня.

Банальной была и проданная домработницей, рязанской толстухой, мебель в московской квартире, в которую семья возвратилась из эвакуации, обнаружив голые стены. Не было ничего оригинального в моей грусти по деревянной лошадке на колесиках, безвозвратно утерянной, хотя лошадку было жалко.

И так, перечисляя, я не мог припомнить ни одного сюжета, который каким-то образом объяснил бы мне, почему я встречаю сумерки в угрюмом здании комитета госбезопасности.

Всем раскладом жизни мне была уготована другая судьба. Ведь я — большевистский наследник, неистребимый по замыслу вождя.

Но что-то нарушило генетический код. Что-то пошло не так. На каком-то отрезке пути земля провалилась подо мной совсем другой колеей, и эта новая колея потащила меня сама, не давая выбраться за свои шершавые края. А вдоль колеи — рисовала фантазия — выстроились маленькие зверята, кротики, и зорко следили за мной, как регулировщики, команда: «Сюда нельзя! Только туда!» Мысленно я представлял, какие они, эти существа, возможно, с той поры, когда ребенком тыкался в мамину кротовую, еще довоенную, шубку.

— Почему так? — спросил я сам себя. И понял, что произнес слова вслух.

Опер, опять дымивший в форточку, живо откликнулся, обернувшись:

— Вы что-то сказали, Андрей Владимирович?

Я не ответил, только жестом руки показал: нет, все в порядке.

Мне не хотелось возвращаться в реальность, и я, уткнувшись в карту, делая вид, что разглядываю ее и что-то ищу, продолжал размышлять, вспоминая свою журналистскую жизнь.

Работая уже в «Младокommунисте», я как-то сделал доклад, нарисовав в нем человеческие портреты своих современников, которые отражали, по моему мнению, суть научно-технической революции. Речь свою я произнес, как и положено, на партийном собрании — где же еще? И это вызвало скандал.

Уройков сухо отреагировал:

— Партсобрание не есть дискуссионное собрание.

Меня обвинили в том, что я предлагаю героя, который ставит «тысячу вопросов». А кто будет на них отвечать?

В почете был иной подход: твердая точка зрения и персонаж, который во всем убежден.

Редакционное словоблудие, казалось, достигло совершенства. Егор Урюпа, заведующий отделом пропаганды, непревзойденный закупщик зелени и маринадов на рынке для общественных застолий, мастер стола, тамада и опытный партийный интриган, сказал гениально:

— Надо лушинские тезисы опартиить!

И мудрое решение тут же отметили в узком кругу — с чесноком, черемшой и «тремя звездочками» за четыре двенадцать.

Страна обсуждала не мои тезисы, а — очередного Пленума, и это слово писали исключительно с большой буквы.

И какие доводы находили!

— Нельзя рассматривать «тезисы» как большой предъюбилейный молитвенник, — учил молодежь на заседании редколлегии профессор ВПШ Ребров, тот самый, со слуховым аппаратом. — Мы не всегда делаем «тезисы» своим рабочим инструментом, — укорял он.

Это были дни ленинского юбилея. Повсюду на стенах зданий — портреты вождя. На сценах театров — идейно выдержанные спектакли. И даже близкие люди, объясняя свою лояльность, говорили друг другу: «Юбилей великого человека. Можно и написать — тут пошлости нет!»

Действительно, никто не хотел оставаться в стороне. Писали даже о «ленинской эволюции на примере десятиперых рыб»!

На улицах повсюду продавали шарики, раскрашенные ленинской символикой. К ним боялись прикоснуться сигаретой: бац! — и ленинский юбилей лопался. Могли усмотреть злой умысел.

Чехословакия так закрутила гайки, что начальство вздрагивало из-за полной ерунды.

Уройков швырял на стол очередное сочинение Аделаиды Ригго. Та возвращалась в недоумении и жаловалась Лямкину:

— Сперва он мне сказал: дамское эссе. Тогда я написала сухо. Опять недоволен. Он хочет и партийно, и задушевно.

В эти дни даже к моей бородке, не говоря о заросшей физиономии Белова, стали присматриваться с сомнением: а допустим ли столь откровенно нетипичный облик для члена редколлегии «Младокommуниста»?

Тогда мы решили нанести упреждающий удар. Сочинили трактат о бороде, и я произнес его на очередной летучке:

— Последнее время все чаще слышится: «Ах, надо бороться с явлениями, когда форма расходится с делом». Дошло до того, что уже на борода-тых кидаются, как на диссидентов. Поэтому я хочу выступить против тезиса о единстве формы и содержания, если речь идет о пучке волос. И приведу исторические примеры!

Народ проснулся и стал слушать внимательно, решая: всерьез это или хохма?

Я старался быть серьезным и продолжал:

— Бороду носил китайский художник Ци Байши. Георгий Плеханов писал о Степане Халтурине: «Ни о силе характера, ни о выдающемся уме не говорила эта привлекательная, но довольно заурядная внешность». А ведь у Степана была борода! Самсону, библейскому богатырю, как известно, остригла бороду и лишила его силы женщина. И по статистике Лямкина, который сидит тут, вместе с нами, как всегда небритый, — даже алкоголики в электричках не пристаю-т к нему насчет его внешности. Посмотрите еще. Добролюбов носил бороду и волосы-патлы. Фридрих Барбаросса (Красная Борода) возглавлял один из крестовых походов, хотя сами крестоносцы предпочитали бриться. А Диккенс? А вспомните пижонскую бородку, ко-

торую носил Декарт? Усы носил Сулейман Стальский и редко брился. Джамбул Джабаев, у которого плохо росла борода, переворачивал домру вниз струнами, чтобы не потревожить жидких волос. В Амстердаме длинные волосы (возможно, это был парик) носил коммерсант Спиноза, и в проклятии синагоги говорилось, что никто не должен иметь с ним общения, не жить с ним под одной крышей и не приближаться к нему на расстояние ближе четырех локтей. Правда, это было вызвано не волосами Спинозы, а его «Этикой». Можно привести в качестве примера французов-энциклопедистов во главе с тридцатидвухлетним Дени Дидро, которых разгромила официальная политика, управляемая иезуитами. Даже в крутые времена борода воспе-валась: «У тебя седина в бороде, и моя голова поседела». Кто не знает партизанской песни: «Парень я молодой, не смотри, что с бородой». Целые районы были освобождены от гладко выбритых немцев бородатыми людьми. Владимир Иванович Даль благородную «бороду» заключил между словами «боров», что означает кабан, хряк, и «борозда». И только Петр Первый сказал: «Борода — лишняя тягота». Но есть и другое: «Борода делу не помеха». А раскольники так ценили бороду, что кричали: «Режь наши головы, не трожь наши бороды!»

Забавляя летучку, я закончил назидательно:

— Бог судит виноватого, кто обидит борода-того.

Однако маразм в стране крепчал. Утром, открыв газету, я прочитал: «Вчера на Сретенском бульваре разгоняли доминошников. Почему? По какому праву? Игравшие, все без исключения, были трезвы,

не шумели, никому не мешали — могу это подтвердить».

Фамилия у сигнализировавшего о нарушении прав человека была «Стуков». На всякий случай он закончил свой протест так: «Сам я в домино не играю, но видеть, как гонят со скамеек ни в чем не повинных людей, неприятно».

Несмотря на то, что я заведовал отделом, я по-прежнему часто бывал в командировках, собирал материал для собственных публицистических выступлений. С корочками члена редколлегии «Младокommуниста» меня принимали как «своего». Однажды я попал на гулянку комсомольского актива.

Второй раз спели «Там вдали, за рекой». Кто-то предложил: «Давай — комсомольцев-добровольцев!»

Секретарь райкома сказал:

— Да ну их на фуй!

За дверью зашумели. Секретарь позвал здорового мужика:

— Федя, успокой.

Наутро опять пришли за мной.

— Мы вас очень просим. Там уже машины. Едем в лесничество. Лыжи, девушки.

А вечером сидели дома у секретаря райкома и смотрели хоккей. Играли наши с чехами. Я болел за чехов, но не показывал виду. Когда забивали очередной гол, я боялся, что меня разоблачат и обвинят в отсутствии патриотизма.

Утром секретарь райкома, встречая меня, вышел на середину кабинета, раскидал полы пиджака и сильно потряс мою руку. Я понял, что стал для него близким человеком.

Секретарь рассказал об учителе в деревне.

— Интеллигент, понимаешь, народник. Приехал с настроением «просвещать» и всякая такая муть. Я ему говорю: «Все это ерунда, брось темнить. Организуй стрелковый кружок, вот тебе ясное и конкретное дело!» А он, паразит, крутит. «Где мы, — говорит, — винтовки найдем?» Объясняю: винтовка стоит пятнадцать рублей, а тонна металлолома — двадцать четыре. Две тонны металлолома — три винтовки. А он опять: «Кто учить стрелять будет? Где стрелять?» Оч-чень интересный разговор. Я бы сказал: показательный! Да в каждой деревне, говорю ему, есть демобилизованный солдат. Найди его, привлеки. Овраги есть? Есть. Вот тебе и тир! А он опять темнит: «У нас нет оврагов, у нас одни бугры». Ну как же может не быть оврагов? Два бугра — это один овраг. Вот к нему бы тебе поехать. Пощупать, посмотреть.

Зазвонил телефон. Секретарь райкома взял трубку, стал докладывать, как прошла конференция. С партийным начальством секретарь пружинист, деловит. К слову и матюгнется, как патрон досылает. Рубит с плеча, чеканит.

— Значит, так, Петр Васильевич! Докладываю: позвонили в Веселовку, жертв нет, парторгу грудь вдавило, еще одной девчонке руку сломало и ключицу выбило, в больнице. Значит, выяснили причины. Главный инженер совхоза сел за руль. Машина заехала, взяла две бочки карбида, потом забрала делегатов конференции. Хорошо, машина крыта фанерой, а если бы брезентом, там бы каша была. Считаю, виновато руководство совхоза и милиция. Мы давали команду: привез шофер делегатов — отбирать права. Кончилась конференция — дыхни!

Трезвый — вот тебе права, вези. Вот так, Петр Васильевич! Да. Всё. Понятно.

В остальном конференция прошла удачно.

— Я предлагаю первый тост, товарищи, за Коммунистическую партию Советского Союза!

Пили и ели активно. Совещались: поднимать следующий тост или пусть поедят?

— Пусть поедят, устали, — сказал председатель райисполкома, татарин.

Когда пошла пятая-шестая, закуски смешались. За руководящим столом, закончив коньяк, перешли к водке.

— Ведь как это хорошо — ком-со-мол! — сосед лез ко мне с объяснениями. — Помню себя, ведь ни черта не понимаешь, зачем идешь, а идешь. Задор — это главное... Пьем, да?

Через час все стали близки и доверчивы. Открыли неоткрытую бутылку шампанского, чтобы не пропадало. Недопитое выплеснули веером по стене. На прощанье партийный босс сгреб из вазы конфеты, ссыпал в карман.

Вернувшись из командировки, я сидел в редакции, сочинял отчет. Пришел знакомый, принес листки.

— Вот, — сказал, — стенограмма собрания аппарата писательской организации. Об исключении из СП Солженицына. Завтра будет в печати.

Стали читать.

Дверь открылась, заглянула Адель Риго.

— Что вы тут, пьете, что ли?

— Совсем наоборот, — вздохнул я.

Возможно ли, размышлял я, скорректировать движение страны? Сам я не делал каких-либо уси-

лий, жизнь, не спрашивая меня, катила по колее. Но все чаще возникала мысль: страна-то так жить не должна.

В очередной раз собравшись в командировку, я поехал в Академгородок к Бурштейну, в его «Интеграл». В элитарный дискуссионный клуб научной молодежи, о котором было известно в Москве, туда стремились за глотком свободы.

В тот раз среди гостей выделялся философ из Москвы Щедровицкий, интеллектуальная машина высокой мощности. Как обычно, действо разворачивалось за столиками кафе. Академик Александров, опекавший клуб, как всегда, был в свитере. Анатолий Бурштейн безумно сверкал очами, маленький ртутеподобный Яблонский ходил с видом будущего гения, а у Александра Радова была еще фамилия Вельш, и сам он был худенький и скромный мальчик. А в качестве украшения зала, отметил я, хорошенькие интеллектуалочки. У микрофона шла жесткая схватка по поводу вакуума нравственного воспитания.

Из того вечера я вынес мысль, с отчетливостью выраженную Щедровицким: зрелый человек — это тот, кто все ситуации решает без наставника и руководствуется в жизни не моральными прописями, а моральной теорией. Нужны убеждения, основанные на понимании законов развития общества. И конечно, активность.

Что касается последнего, размышлял я, то с этим проблем не будет.

Через какое-то время Анатолий Бурштейн приехал в Москву. Он и познакомил меня с Ремом Горбинским.

— Аппарат по сути своей антиинтеллектуалистичен, — объяснял Рем. — Начальство все лучше знает? Чепуха! Это иллюзия, будто об общих принципах могут судить только высшие сферы.

Мы шли от Зубовской площади, где Рем жил, в сторону Смоленской. Рядом с Ремом Горбинским трудно выступать в роли собеседника. Рем предпочитал иметь слушателей.

— Человек, стоящий у власти, — вещал Рем, — нуждается в знании только как в средстве. А специалист привлекается только для того, чтобы подыскать пути осуществления политики, цели которой не подлежат не только критике, но даже обсуждению. И люди, обладающие знаниями и вступающие в контакт с властью имущими, приходят к ним не как равные, а как наемники.

— А мы кто? — спросил я.

— А мы с тобой не можем ужиться с властью не из-за своей непрактичности, а в силу того, что наши цели выходят за рамки существующего строя, который охраняет государственную власть.

Рем шел тяжело. Его мучил диабет. Его жена Стася металась между своими дочками и этим беспомощным человеком, больным, пьющим, вечно с людьми, с завиральными идеями.

Когда начались визиты в маленькую уютную квартирку Стаси, где обитал Рем, я каждый раз чувствовал себя неловко — хозяйке было и без меня тяжело. Мы всегда сидели за столом в тесной кухне, часть которой с нами делил быстро подрастающий щенок колли.

— А государственная власть, — продолжал Рем, — даже самая просвещенная, всегда выража-

ет интересы господствующего класса. И это ставит ей вполне определенный предел. Таков суровый факт, с которым сталкиваются все просветители и утописты.

Рем говорил, что у интеллигенции чувство собственной исключительности выливается в сознание своей ответственности перед народом, в стремление быть не только мозгом, но и совестью страны. Или — в пренебрежение к массам, снобизм и требование для себя особых привилегий.

Рем предлагал препарировать стереотип интеллигента, сложившийся в общественном сознании, сделать его предметом социально-психологического исследования. Он рисовал свой марксистский план: вывести через десять лет наверх прогрессивного лидера, вложив ему в голову с в о и идеи.

Сколько раз я это слышал: иного пути нет, только с партией! Вот и Рем о том же. Он активно читал Бухарина, Троцкого, а я в какой уж раз перечитывал Достоевского. А когда принялся за Маркса и Энгельса, опять набрел не на то.

«Дорогой Энгельс! — писал своему другу Маркс. — Только что получил твое письмо, которое открывает очень приятные перспективы торгового кризиса».

Что же так заинтриговало молодого Маркса?

Оказывается, Энгельс сообщал коллеге Мавру, что в Америке дела пошли совсем худо.

«Теперь, — писал он из-за океана, — хорошо бы еще в будущем году иметь плохой урожай на зерно, и тогда начнется настоящая музыка. American crash великолепен и далеко еще не миновал. Торговля

теперь снова на три-четыре года расстроена, nous avons main tenant de le chance».

И сообщал о своем состоянии:

«Со мною то же, что и с тобой. С тех пор как в Нью-Йорке начался спекулятивный крах, я не мог себе найти покоя в Джерсее и чувствую себя превосходно при этом general down break. Кризис будет так же полезен моему организму, как и морские купания, я это и сейчас чувствую».

Ничего ребята, подумал я, и купания не забывали.

Но не все у них шло гладко. Вот и тревожное сообщение:

«...на рынке улучшение настроения. Будь проклято это улучшение!.. Здесь могут помочь только два-три очень плохих года, а их-то, по-видимому, не так-то легко дожидаться».

Я старался припомнить, где читал что-то подобное. Кто еще так печалился из-за того, что жизнь не так уж плоха?

И вспомнил: «Само правительство того гляди додумается до сбавки подати и тому подобных благ. Это было бы сущее несчастье, потому что народ и при настоящем дурном положении с трудом поднимается, а облегчись хоть сколько-нибудь его карманная чахотка, заведись там хоть на одну корову, тогда еще на десяток лет все отодвинется и вся наша работа пропадет», — так писал свой доморощенный «бес» Нечаев.

— Вы давно знакомы с Горбинским?

Пятый раз уже допрашивали меня, называя допрос «беседой». Я кочевал из комнаты в комнату,

сидел с охранником, недоумевая, зачем нужны такие перерывы.

— Несколько лет.

— Что он за человек?

— Рем? Ну-у... Сын старого большевика, друга Ленина. Того, который заведовал у них библиотекой в Лонжимо. Я имею в виду отца Рема... А сам он? Блестящий публицист.

— Вы ему доверяете?

— Вполне. А что?

— Вы его близко знаете?

— Дома бываю. Его собака недавно укусила меня за палец. Куда уж ближе? Вы не могли бы задавать вопросы поконкретней?

— И Лямкин его знает?

— Конечно. Рем наш автор. Недавно мы напечатали его статью о Нине Ивановой из «Известий», которая погибла, когда самолет разбился под Харьковом. Слышали, наверное? Рема все знают. Это очень известный журналист.

— О чем вы разговаривали с Горбинским, когда бывали у него?

— Ну, вы даете! О чем могут говорить люди? О женщинах тоже. Но прежде всего о политике, Иван Николаевич. О ней! Только что тут предсудительного и почему я ради ваших вопросов сижу тут весь день?

— И что же о политике?

— Известное дело — общий бардак! О двадцатом съезде забыли, экономическая реформа накрылась, живем от одного юбилея к другому, толчем воду в ступе. Вот об этом треп! Но ведь это наша работа, Иван, простите, Николай? Все время пу-

таю, даже неудобно. Еще перерыв устроите, опять перепутаю. Потребность в разговорах — это особенность нашей профессии. Бывает, болтаем и за бутылкой. А потом рождается какая-нибудь идея, какой-нибудь замысел. Журнал делать непросто. Вся жизнь у нас в разговорах. Сплошной треп. И о политике тоже. Только греха в этом не вижу. И вам должно быть совестно морить человека голодом ради выяснения, о чем он болтает с друзьями. Да вы ведь знаете, о чем. Знаете?

— Знаю.

— Ну так отпустите меня. Я есть хочу. Меня жена ждет. Мы с нею в кино идем на «Солярис». Вот билет! Могу показать. Вот! Смотрите! Я еще успею, еще двадцать минут до начала.

— И Лямкин тоже бывал у Горбинского?

— Раза два. Я его к Рему и привел. Ну, Иван Николаевич, все? На все вопросы ответил? Я пошел?

— Не хотите вы себе помочь, Андрей Владимирович. А зря! Запутал он вас.

— Кто?

— Горбинский.

— Да в чем запутал-то?

— Вы это сами знаете. Только не хотите рассказать. А вы бы посоветовались с нами. Ведь не так все просто. Можно ведь и по-другому действовать, не так, как вы. Вот бы и посоветовались... чистосердечно. Мы тут не солдафоны какие-нибудь, тоже думаем. Над теми же, кстати, проблемами размышляем. Только методы у нас другие... Значит, говорите, «Солярис»? Это что?

— Художественный фильм. По книге Станислава Лема.

— Ну, а «Солярис»? Что это такое? Зачем это вам?

— Как зачем? Кино!

— Да бросьте вы, Андрей Владимирович! Надоело, право. Какое кино? Вы же знаете, о чем речь. О каком «Солярисе»!

— О каком?

— Ох, непростой вы человек, Лушин. Всё — на отбой! Не желаете советоваться.

Советоваться мне действительно не хотелось, потому что чекист смотрел в корень.

Был бы я поблагороднее, я бы комедию прекратил и все изложил. И подписал, и даже успел бы на вечерний сеанс.

Но мой отец был родом из брянских лесов, крестьянин, ставший шахтером. И хотя потом повидал всякого, и из пушки по немцам стрелял в первую империалистическую, и к большевикам примкнул еще до октябрьского переворота, и в Берлине университет закончил, и в Англии учился, и на Шпицбергене концессией ведал, и успел жениться на студентке на двадцать лет моложе себя, но все равно, видно, передал сыну свою плебейскую сущность: сопротивляться до конца, изворачиваться, не вставать в позу, я, мол, воин подполья, презираю вас, ублюдки!

Конечно, я понимал, какой Солярис интересовал чекиста.

Это словечко было кодом.

Кому первому пришло в голову назвать так наш проект, теперь трудно вспомнить. Образ лемовского Соляриса наиболее точно выражал потребность во всеохватывающем коллективном мозге, в кото-

ром циркулировали бы отдельные идеи, лишённые авторского эгоизма и страха. Циркулировали — как общее достояние. Подцензурное творчество задавило до печенок. Со страниц журналов глядела кастрированная наука. Авторы изощрялись не в том, как донести мысль, а в том, как ее скрыть. Самое меткое определение эпохи дал хирург Амосов: приспособление истины к безопасности. Но так невозможно было двигаться вперед. Прошло двадцать лет после двадцатого съезда — и что? Никакого анализа! Да возможен ли он в условиях цензуры? Наскучил политический балет намеков, эти шарады, загадываемые экономистами, философами, социологами. Никто никого не мог понять — язык абсурда! Рем Горбинский как-то выразил общую тоску: «Хочется пожить без презерватива!»

Идеологическая цензура лишала общество самой возможности зачатия новой мысли. Не возникло даже намека на плод.

Как-то вечером, в оттепель, после сильных морозов, начавшихся еще с Крещения, я поехал к философу Эвальду Ильенкову, чтобы заказать статью. Вошел в его квартиру на пятом этаже углового дома напротив Телеграфа, Ильенков подался мне навстречу, сутуло вздернув острые плечи, выдвинув вперед голову, быстро поздоровался и сказал: «Проходите сюда», — указал на кушетку в кабинете, а сам ушел в центр его, где стоял огромный деревянный ящик и вращались диски. Комнату сотрясали звуки могучей музыки, звучала немецкая речь, Ильенков наклонил голову, припал к ящику ухом и слушал, забыв о госте. Потом с досадой махнул рукой: «А-а...» Догадавшись о его страсти, я по-

интересовался: «Не устраивает? Нет чистоты?» — «Да-а...» — неопределенно протянул Ильенков.

Пока Эвальд Васильевич слушал запись, я был предоставлен себе, рассматривал кабинет — великолепное запустение! Слева, до окна, стена книг. В углу некое подобие кресла. На маленьком, на вид шатком столике черный куб допотопной пишущей машинки. На другом столике, около кушетки, пузырьки с разноцветными жидкостями, нет, это не лекарства, понял я, это что-то для склеивания магнитофонных пленок. Листы с рукописями по стеллажам и на стульях. Повсюду раскрытые книги. На стенах маски языческих богов.

А посреди комнаты у огромного разошедшегося ящика, студийного магнитофона из списанных радиовещанием, возился хозяин квартиры.

Я подумал: когда Эвальд Ильенков оставляет свою игрушку и возвращается к ундервуду, к своей работе, может ли он, свободная личность, засунуть себя в тюрьму цензуры?

Да никогда! Иначе Вагнер разорвет ему барабанные перепонки.

Значит, этот человек живет, скрипит пером, заперев дверь на засов, а потом прячет написанное в стол.

Надо его творчество вытащить на белый свет. Для этого я и приехал к философу. Надо объяснить ему, что есть способ опубликовать самые откровенные работы. Напечатать их — и не засветиться.

В этом и состояла наша идея — организовать циркуляцию научных работ. Поначалу — среди узкого круга. Человек двадцать, которые понятия не будут иметь, как организовано дело. Для них,

для таких, как Ильенков, ученых, мыслителей, публицистов, — важно ведь само дело: обмен идеями без цензуры.

Рем Горбинский называл эту задачу: создание библиотеки. Пройдет, говорил он, может быть десяток лет, пока по разным направлениям произойдет накопление нового знания, способного вынести на гребне сгусток энергии в виде выводов. Придет пора, наступит черед журналистов, потребуются публицистические «полуфабрикаты», а из них, когда наступит час всесоюзной дискуссии, сделают отточенные готовые статьи.

По сути, речь шла о создании в стране альтернативного идеологического центра. Конечно, ничего такого я не собирался говорить Ильенкову: это было бы безумием. Но кое-что предстояло объяснить. Надо выработать идеи, которые когда-нибудь станут нужны грядущим партийным лидерам. А как устроено дело, это не его забота и не других теоретиков, об этом, о перетекании рукописей, позаботятся другие. Главное — никакого обмена из рук в руки, от автора к автору. Никто никого не должен знать в лицо. По текстам — да, по псевдонимам — пожалуйста. Будут догадываться, кто стоит за той или иной работой, но не будут видеть друг друга, не будут участвовать в передаче текстов. И только трое «библиотекарей» будут знать всех. Эти люди и обеспечат функционирование Соляриса.

У меня появилась тайна!

Я понимал: это не игрушки, это подполье. Однажды я сказал себе — да, и душа взмыла, отстегнув балласт. Наверное, те же чувства испытывала и Алла Гербер, с которой мы брели однажды по

Москве и — где полунамеками, а где и без них, — обменивались нашими воззрениями на окружающую действительность. Не помню, может быть, мы вышли из одного подъезда, где жил Горбинский, а может быть, она не была в курсе его фантастических идей, но мы говорили именно о них, и я кожей чувствовал, что рядом со мною мой человек, одной дороги. Умная и смелая, Алла, как и я, задышалась в пеленках советской журналистики.

Так, из уст в уста, от сердца к сердцу, мы обрастали друзьями.

Словом, Ильенков обещал подумать. Но первая ласточка была уже в «библиотеке»: Отто Лацис переправил из Праги, где работал, свой «Год Великого перелома». Рем снабдил рукопись редакторским комментарием, а я раздобыл пачку тончайшей папиросной бумаги и искал надежную машинистку.

Поиски затягивались.

Наконец Рему надоело ждать и он, не сказав ни мне, ни Фоме Лямкину ни слова, отдал рукопись своей знакомой.

Это произошло десять дней назад. И вот теперь я сидел на Лубянке и, глотая слюну, ждал очередного вызова.

За окном давно почернело. Разговор тек вяло, лениво, в тягость для обоих. Иногда я как бы засыпал, не слышал, что мне говорят, а если и слышал — не отвечал, смотрел в стену и молчал.

Следователь, как автомат, спрашивал, призывал. Если он повышал голос, тогда и я взрывался, требовал, чтобы дали позвонить жене. И неожиданно затихал, съеживался и смотрел в сторону.

Я понимал: чекисту все ясно. Чего же хочет? Убеждает, уговаривает. Хочет, чтобы я сам вынес себе приговор. Сам все рассказал. А потом попросят изложить письменно и поставить подпись. Потому что в столе только доносы стукачей и магнитофонная пленка шостскинского завода, агентурные данные, а их к партийному делу не пришьешь и в суд не представишь.

Потому и бубнит: «Посоветоваться, посоветоваться».

И вдруг гэбист вскочил, как подкинутый пружиной, и вытаращил глаза, глядя не на меня, а мимо — на дверь. Руки по швам.

Я оглянулся.

В дверь вошел человек с узким черепом, будто его стиснули вагонными буферами, бледный, с надменным лицом-маской.

Это был генерал-лейтенант КГБ Филипп Денисович Бобков, шеф идеологического управления.

Я тогда этого, естественно, не знал, сидел и ждал, что будет, не понимая, отчего это мой «Николаич» так встрепенулся

— Ну что? — спросил генерал.

— Да всё на отбой. Не желает себе помочь.

— Ну, раз не желает, ему же хуже.

На меня Бобков не взглянул, не удостоил даже поворота головы в мою сторону.

— Вот говорит: из-за нас в кино опоздал, на «Солярис», — брякнул вдруг Иван Николаевич.

— Ну, это мы выясним, какой солярис-полярис, — сердито произнес Филипп Денисович.

Только тут я заметил, что вошедший принес с собой папку для бумаг, держал ее в руке, а теперь

раскрыл, глянул в листок и впервые обратился непосредственно ко мне.

— Что вы из себя строите? — стал срамить меня генерал. — Молчите, запираетесь! Ахинею несете. Дрожите тут, отпираетесь. Не стыдно, а? Где же ваши принципы? Вот у Горбинского они есть — да! Его можно уважать, он последователен. С ним можно спорить: прав — не прав. Но это личность! С ним есть о чем поговорить. Он логичен в своем поведении. У него есть позиция. А вы?.. Ну, молчите, молчите.

— Жаловаться на нас собирается, — вставил следователь.

Он совсем посерел и обмяк рядом с генералом. Стоял все так же, руки по швам. А Бобков вальяжно разгуливал по кабинету. Генерал был в штатском, в костюме коричневых тонов. И папочка переходила из одной руки в другую, на секунду распахивая черные створки и показывая белые листочки внутри.

— Ну что же, — сказал задумчиво генерал. — Мы тоже не собираемся скрывать. Секретов нет. Так что за Солярис вы придумали с Ремом Станиславовичем?

Я молчал.

Молчание затягивалось. Оно было красноречивым. Во-первых, оно свидетельствовало, что я не зря тут сижу. Во-вторых, оно убеждало генерала, говорило ему, что он прав: перед ним ничтожество, беспринципное и трусливое, не может умереть красиво.

И генерал решил помочь мне скончаться. Узкое лицо его приблизилось. Я почувствовал боль, не понимая, что ее вызывает. Боль врывалась извне,

разрывая кровеносные сосуды: это генерал стал читать то, что было в белых листках, спрятанных в его папке.

Про Солярис. Про троих «библиотекарей». Про гениальный и, казалось, непотопляемый, как авианосец, замысел.

— Вот это — позиция! — веско произнес Бобков. — Горбинского можно уважать! А вас?..

Я по-прежнему продолжал молчать. Да и что мог ответить покойник?

— Не верите, что это написано самим Горбинским? — не унимался генерал. — Пожалуйста, посмотрите!

Листки поплыли перед моими глазами, я увидел плотный, убористый почерк, как в таких случаях говорят, знакомый до слез.

— Хотите почитать? — издевался Бобков.

Я кивнул.

— Ну-у, — протянул Бобков. — Мне надо спросить разрешение у Рема Станиславовича.

И спрятал листки в папку.

— Что теперь скажете?

— Не знаю, — ответил я. — Почерк действительно его.

Генерал вышел. А меня отвели в уже знакомую мне комнату напротив: еще полтора часа ожидания.

Я был раздавлен. Листочки, без сомнения, принадлежали Горбинскому. А мое молчание, растерянность — лишнее доказательство того, что Солярис существует.

«Это мой минус», — подумал я. А где плюс? Все-таки я не произнес никаких «слов» — лишь

позволил сделать выводы. Да выводы у них и без моих слов заготовлены.

Я сидел и размышлял, как оправдать свой срыв, если опять начнут допрашивать.

И вдруг понял бессмысленность этих поисков.

А когда меня опять провели в кабинет следователя, передо мной был уже другой человек. Тот же — но другой, совершенно потерявший ко мне интерес. И вызвал он меня лишь для того, чтобы сообщить, что я свободен.

— Можете отправляться домой. Секрета из того, что были у нас, не делайте. Сообщите на работе. Мы тоже со своей стороны проинформируем.

Я вышел из подъезда. Ночь. Посмотрел на часы — пять минут двенадцатого. Полсутков в КГБ.

И похрустел по снежку, унося ноги подальше от стены здания, к перекрестку, где напротив светился дежурный гастроном. Когда я жил на Сретенке, его называли «сороковым», на его стене по праздникам висел Сталин в полный рост. Я помнил, магазин хороший. Только теперь я почувствовал, как устал от навязанного общения. Я постоял минуту, улыбнулся и пошел в другую сторону, удаляясь от ареала своего детства.

Дома Наташа ждала от меня объяснений, но я лишь в двух словах сообщил, где провел день, и бросился к телефону.

— Алло, Рем! Ты не хотел бы погулять? Я был в одном месте, есть что рассказать...

— Да я знаю, — протянул Рем устало. — Я сидел рядом, в соседней комнате.

— Что?

— А-а, — вздохнул Горбинский с безнадежностью. — Они все знают.

— Подожди, подожди! — я попытался удержать своего друга, чувствуя, что тот сейчас начнет рассказывать мне по телефону о своем собственном дне в КГБ. — Давай я подъеду. Ну, я пошел. Бегу!

Открыла Стася, ласковая, как всегда. Одной рукой она оттягивала подростковую шотландскую овчарку, другой показала на кухню.

Рем сидел ссутулившись за маленьким пластиковым столом, завершая ужин. Я машинально взял кусок хлеба, стал жевать — торопясь, я дома не поел.

— Они всё знают, — сказал Горбинский. — Всё!

— Когда тебя забрали?

— Утром.

— А меня днем, около двенадцати.

— Я знаю. Мы сидели рядом, в разных комнатах. А в третьей — Лямкин.

— Ничего себе!

Я не знал, как приступить к главному.

— Послушай, Рем, — произнес я нерешительно. — Там какой-то мужик, такой тощий и наглый, показал мне...

Рем жестом остановил, не дал договорить.

— Генерал Бобков, начальник идеологического управления. Я его знаю.

— И твой почерк, Рем? Он пару фраз мне зачитал...

— Да бесполезно, понимаешь! — опять перебил Горбинский, не давая мне договорить. — Им все известно! У них рукопись Отто. Давай завтра, а? Завтра поговорим.

Я вышел на ночное Садовое кольцо. Спешить теперь было действительно некуда. Брел по пусты-

ным улицам, пока не запрыгнул в пустой холодный троллейбус.

В горле застыл тяжелый вопрос: «Как же так, Рем?»

Ведь столько раз проигрывали эту пластинку. Давно определили, как вести себя. Я с упорством идиота держался плана, но как же глупо я выглядел, если в двух шагах от меня, за стеной, Горбинский все поведал генералу, да еще, как он сказал, знакомому. Можно сказать, по-свойски. По старой цеховской службе-дружбе — с тех времен, когда сам был секретарем ЦК комсомола и контактил с ровесником-чекистом, который делал карьеру в соседнем ведомстве. Я отчетливо представил, как это произошло. Как они сидели вместе в креслах друг против друга, вольготно откинувшись и стряхивая пепел в общую пепельницу, обсуждая пути реформирования власти — любимая тема Рема Горбинского, возможно, и генералу была не чужда. С кем только Рем ее не обсуждал! И генерал наверняка полемизировал, не соглашался: «Рем, зачем же так? Мы тоже видим не хуже вас, но вы торопите события». А Рем настаивал и наслаждался партнерством. И, незаметно для себя, выложил все — от «а» до «я». А потом генерал, вспомнив про свой мундир, не меняя тона, сказал: «Ну что, Рем? Напиши. Надо — для порядка». И Рему некуда было деваться — написал. А потом и подписал. И генерал пошел вправлять мозги мне и Лямкину.

Так или как-то иначе, но я не сомневался: Рем Горбинский подарил «конторе» весь расклад, всю нашу роскошную идею, до которой они сами не додумались бы, растопырив все свои электронные

уши, не смогли бы понять замысел со всей ясностью.

В один миг рухнул кумир, на которого я молился.

Глубокой ночью, вернувшись домой, я собрал второпях все, что попало под руку и за чем могли прийти утром, а то, что придут, я не сомневался. И отправился в овраг к железной дороге под видом прогулки с собакой. И там сжег рукописи и книги. Недогоревшие страницы валенком вдавил в снег.

Наташа дожигала мелочь на кухне у мусоропровода.

К счастью, я не обладал немецкой аккуратностью и кое-что второпях оставил, а они не пришли.

Утром мы гуляли с Фомой Лямкиным по Новослободской в окружении друзей, рассказывали об идее Соляриса. Для иных она открылась впервые. И кто-то, может быть, подумал: «Хорошо, что я о ней ничего не знал».

У Лямкина, оказывается, тоже был свой Иваныч Николаич и призывал его признаться, а Фома выдавливал из себя: «Был грех, читал Бердяева». Ему предлагали: «Может, пленочку хотите послушать?» — но не крутили ее. Потом он так же, как и я, сидел со своим охранником, ждал, но в отличие от меня — перекусил. Разговор в целом проходил мирно, театральные истерики Лямкин не закатывал и к полуночи был у себя в Расторгуеве.

Теперь начались трудные денечки, проходившие в сплошной лихорадке воспаленных разговоров и в поиске: кто заложил? Не было сомнения, что провал — результат доноса. Но не было и ответа, кто виновен. Я находился в состоянии, которое мне не

нравилось, я все время невольно вглядывался в лица приятелей, а дома вспоминал разговоры, перебирал в уме впечатления, словно подбирал рассыпавшиеся по полу рисовые зернышки. Однако картина не складывалась и ничего определенного не вырисовывалось. Вон у Влада Белова, думал я, подходящая физиономия — так что же с того? Да Влад, кажется, и не знал ничего? На душе от таких мыслей было гадко, а особенно от того, что впервые я осознал, как легкомысленно мы себя вели, как много болтали, выставляя на сцену свою радикальность. Я убеждал себя: само дело требовало распространения информации. Мы пытались ее дозировать: вот это для тех, кто на дальней орбите, вот это для тех, кто на средней, а это — самым посвященным, ближней орбите. Но как легко было ошибиться в расчете.

В редакции, под занавес дня, зашли к начальству. Рассказали о своих приключениях.

Уройков был потрясен.

Его рука, покрытая аллергическими пятнами, пылала костром и исписывала листок за листком.

На следующий день он провел переговоры с ЦК комсомола — оказывается, там уже знали, Тяжелников, первый секретарь ЦК, ездил в КГБ и вернулся подавленный: в теоретическом журнале комсомола заговор!

Приказ Уройкову был категоричен: убрать из редакции!

Главный комсомольский идеолог Матвеев сидел на телефоне и через каждые два часа звонил Уройкову, справлялся: «Ушли?»

А сложность заключалась в том, что формально уволить нас было нельзя. Как уволить двух членов

редколлегии, если нет никаких открыто выраженных претензий?

Собрали партийное бюро, долго и нудно объясняли, что мы с Фомой скомпрометировали редакцию и должны уйти сами. Бюро вел Егор Урюпа, и все по очереди твердили одно и то же, умно кивали головами, а больше всех старался молоденький Виль Зарайский, верный уройковский оруженосец, выдавливая слезу по убиенному журналу.

Опять звонил Матвеев: «Ну что?» Уройков отвечал: «Пока ничего».

Весь день продолжался массаж. Было очевидно: все кончено, «подполье» разгромлено, журнал мы потеряли. Даже если не уволят, работать, как прежде, не дадут, задушат цензурой. Какой тогда смысл оставаться? Уройков никогда и ни в чем уже не будет доверять.

И очень противно мели хвостами — невыносимо было видеть.

Я посмотрел на озабоченные лица коллег-журналистов, и так блевотно стало на душе, что я сказал:

— Фома, я ухожу.

Лямкин тоже не стал задерживаться. И конвейер покатился.

За Лямкиным заявление об уходе написал латыш Гера Пальм, «подпольщик» из тех, кто сначала был очень близок с Горбинским, знаком с ним еще до меня, но внешне отошел. Хотя именно ему принадлежала блестящая идея создать серию «кто есть кто», то есть собирать досье на подручных Кормчего. Вот, к примеру, академик Минц, всем известно румяное личико патриарха советской

официальной философии, иногда его еще можно было встретить на научных конференциях. Если бы замысел Пальма удалось реализовать, то легко представить убийственные листовки, разложенные по креслам научного собрания, их берут в руки, читают, а в них — скупые факты: сколько человек по доносам Минца получили высшую меру, в каких процессах академик участвовал, кого из вождей обслуживал «философским обоснованием». И вот он идет, жалкий старичок, между рядами бархатных кресел, а все ту листовочку уже прочитали и молча смотрят ему в спину. «Надо доводить этих мерзавцев до инфарктов!» — говорил Пальм и называл такой метод «моральным терроризмом». Горбинский сомневался, по силам ли такая задача, но кое-что из заготовок, я это знал, уже стояло на старте.

Пальм демонстративно бросил Уройкову заявление, хотя к нему самому претензий пока не было, и сказал, что уходит в знак протеста.

Но удивил не он — удивила секс-бомба Адель Риго. Двинув бедрами и гордо подняв седую голову, она вплыла в кабинет, где заседало партбюро, и выплыла оттуда уже свободным человеком.

— Я с вами, мальчики! — воскликнула она. — Но прошу не путать. Вы — по политической части, а я — по уголовной!

Прошло несколько горячих дней, заполненных встречами, разговорами, — и вдруг мы обнаружили, что мы просто безработные. Если прежде мы не задержались бы в свободном полете и полусуток, нас тут же затащили бы в самую престижную московскую редакцию и уговаривали бы остаться, то теперь наши робкие, а потом все более настойчивые

усилия найти себе место раз за разом не приносили результата — нас нигде не брали. Положение было глупым, мы искали работу, но не могли объяснить, почему ушли с прежней. Сказать: день провели в КГБ и ушли из редакции сами значило услышать в ответ: «А у нас что — проходной двор?»

Любой кадровик понимал: дело темное.

Такое положение угнетало. Решили: надо встретиться, обсудить ситуацию.

Место встречи выбрали у Горбинского. Его положение не пошатнулось, он все так же работал в крупном издательстве, заведовал редакцией марксистско-ленинской литературы.

Редакция помещалась в подвале старого дома за церковью в начале Комсомольского проспекта, в двух шагах от станции метро «Парк культуры». У метро меня ждали Лямкин и Пальм. Я опаздывал и, когда бежал по эскалатору, заметил молодого человека в приталенном пальто со вздернутыми плечами-фонариками и с военной выправкой. Что-то этот парень настойчиво спешит за мной, мелькнуло в голове. Я бегом, он за мной, я шагом, и тот притормозил. Попробовал отвязаться, но, конечно, не удалось. Так и вышел с «хвостом» за спиной, жестикулируя, давая знак друзьям: вот, мол, привел еще одного.

— Да брось ты, — отмахнулся Пальм, — мы что, агенты ЦРУ?

Купили свежие газеты. Лямкин молчал, а я все оглядывался: идет или отстал?

Нашли домишко, где в подвале обитал Горбинский. Спустились. Пол-окна выходило наружу, и было видно, как топтались чьи-то ноги. Я взо-

брался на подоконник, пытаюсь разглядеть своего преследователя.

— Сядь! — скомандовал Рем. — Внешнее наблюдение.

— Точно! Мой солдатик, — сказал я. — И еще какой-то мордастый, в дубленке.

Я спрыгнул с подоконника, меня веселила новая ситуация и странно резануло это «сядь», сказанное с раздражением.

— Филипп Денисович просил с тобой поговорить, — произнес Рем строго. — Так нельзя! Нельзя сравнивать их с их предшественниками!

— Что?! — я остолбенел.

Пальм и Лямкин вежливо молчали. Авторитет Горбинского был столь велик, что никто не смог ничего ответить. Как-то само собой забылось, зачем пришли. На душе у меня было гадко.

Уходя, перепутали в полутемном коридоре двери и вышли не на улицу, а во двор. Я мрачно пошутил:

— Ну и хорошо! Пусть нас там подождут...

— Может, вернемся? — предложил покладастый Фома. — А то подумают, что скрываемся.

— Да бросьте вы! — вспыхнул Пальм. — Пошли!

В переулке было безлюдно. Я хотел взять такси, но денег ни у кого не было. У Лямкина — рубль.

Ладно, решили — вернемся к метро.

И конечно, встретили одного из топтунов — в дубленке. И, не обращая на него внимания, почти не разговаривая друг с другом, поехали в редакцию «Младо-коммуниста». Предстояло кое-что уладить. Уройков сообщил: «Состоялось решение секретариата ЦК, и ваши просьбы удовлетворены».

Это следовало понять так: вы просили уволить вас, и секретариат согласился.

Теперь можно выдать каждому по трудовой книжке.

— Если у вас есть желание встретиться с секретарем ЦК Матвеевым, — сказал Уройков из вежливости, — то он может с вами переговорить.

Я неопределенно пожал плечами, Пальм молчал. И вдруг Фома неожиданно подал голос:

— А почему не поговорить? Можно поговорить. Есть о чем!

Уройкову стало дурно. Он побледнел, потом покрылся розовыми пятнами и застонал:

— Вы понимаете, что делаете? Соберется секретариат. И вас уволят уже не по собственному желанию, а-а... — Уройков задохнулся.

Он уговаривал, грозил. Но Лямкин уперся. А мы присоединились к нему: «Есть о чем поговорить!»

Уройков вызвал на помощь Урюпу. Следом прибежал Зарайский. И даже седой армянин Аперсян, который старался держаться нейтрально, пришел выручать главного. Строгим тоном, как о трагическом, Уройков сообщил, что упрямые люди собираются идти объясняться к Матвееву, сказать ему, что тут, в редакции, на них оказано давление, что их вынудили написать заявления об уходе.

Потом нас попросили подождать. Наконец в прихожую вышел Уройков и строгим официальным тоном сообщил, что в пятнадцать ноль-ноль секретарь ЦК ждет нас.

И вот мы сидели в здании ЦК комсомола в конце длинного коридора и ждали приема. Показался Уройков с мукой на лице, сообщил, что аудиенция

несколько задерживается. Предложил пообедать тут же, на улице Чернышевского, в столовой ЦК. Посчитали деньги, кто сколько раздобыл. С рублем Лямкина — набралось четыре с мелочью. Для цековской столовой — это даже слишком. «Неплохой все-таки парень Уройков, — подумал я. — Просто влез в ярмо, а теперь не распряжется. И есть безумно хочется».

По мере того как приближались к столовой, Уройков все заметнее нервничал.

— Может, сюда зайдём, — предложил он, проходя мимо кафе. — И народу немного.

— Да нет, — сказал Фома. — Чего уж там? Пошли в вашу!

Юлий пробормотал:

— Встретите кого-нибудь, могут задать вопросы.

— Да ладно! — Лямкин был безжалостен. Мы с Пальмом смотрели на него с удивлением.

— Ну, как хотите, — сказал Уройков и покорно зашагал к цековской столовой. — Это со мной! — кивнул он охраннику в дверях и, оправдываясь, уточнил: — Они к товарищу Матвееву! Надо пообедать...

Нас пропустили. Секунду поколебавшись, Юлий не пошел с нами в общий зал, а прошел в специально отведенную комнату для начальства. В эту минуту дверь с улицы распахнулась и в вестибюль ввалился с облаком морозного пара «топтун» в дубленке. Не скрываясь, показал охране на входе удостоверение и пошел в гардероб раздеваться.

Ели, конечно, без аппетита.

От встречи с Матвеевым осталось ощущение пустоты. Секретарь ЦК бессмысленно смотрел бе-

лесыми глазами мимо нас. Рядом сидел Уройков, ерзал на стуле, нервничал. Повторял: «Никакого давления не было. Я приведу пять членов партбюро, они подтвердят». И шептал мне: «Эмоции, эмоции...» — чтобы я не проявлял чувств.

Затея прийти к секретарю ЦК и «качать права» была, конечно, бессмысленна. Мы спрашивали, почему нас затащили в КГБ, а Матвеев отвечал: «Вам виднее». Мы указывали на Уройкова и просили объяснить, почему нас так поспешно выкинули из редакции, а секретарь ЦК цинично говорил: «Вы сами написали заявления об уходе». Мы инстинктивно цеплялись за старое, еще ощущая себя придворными журналистами, хотели, чтобы с нами поступали, как с равными, но поезд ушел, а мы остались на холодном зимнем перроне, и вокруг была другая реальность, новая и пугающая.

Слоняясь без дела, я набрел на редакцию, которая, не разобравшись, согласилась послать меня в командировку в Ленинград. Оказалось, что и Фома Лямкин, волей случая, отправился в том же направлении, и вот мы оба бродили по холодному, продуваемому ветрами городу. Мы жили на далеком Приморском бульваре, добираясь до него бесконечными трамвайными петлями, в дешевой гостинице, которая была нам по карману.

Зашли к Александру Тихонову, старому другу, который на своей шее испытал, что значит оказаться на пути партийной машины, поперек ее дороги. Он еще раньше нас, когда работал в комсомольском обкоме, проводил рискованные эксперименты по собиранию вокруг себя творческих, не оболва-

ненных людей. И как только вышел за рамки дозволенного, стал видим, понятен и опасен — разметали его кружок, выкрутили руки, пришлось бежать в дыру, к технарям, в Альметьевск, под защиту технократов и прагматиков, он им — социологическую науку, они ему — относительную свободу.

Тихонов грустно вздохнул. Ведь мы и его тянули в компанию к Горбинскому, но что-то его насторожило в нем.

Конечно, мы навестили и Зинаиду Николаевну Немцову, старую большевичку и зековку с восемнадцатилетним стажем. Бывая в Питере, я всегда заходил к ней, а в этот раз привел с собою Лямкина. Выложили все, что с нами произошло.

Немцова выслушала молча, не задавая встречных вопросов, а когда мы замолчали, воскликнула: — Как вы могли вляпаться в такую историю?

Зинаида Немцова была удивительной личностью. Седая, как лунь, голова на тощей старушечьей шее, щуплая фигурка, но быстрые движения, стремительные, с учетом возраста. А было ей в ту пору за восемьдесят. И всегда, когда я появлялся в квартире на Петроградской стороне, она торопилась меня напоить чаем, сунуть бутерброд с холодной котлетой. Жила она одна. Где-то дочь, с которой в разладе, заглядывал внук стрельнуть деньжат. Никогда я не видел ее близких, но сказать, что Немцова одинока, было бы неверно. Она участвовала во всех заметных либеральных инициативах, руководила музеем на Металлическом заводе. Арестована она была в должности парторга Светланы, по-моему, в середине тридцатых — это делало ее уникальным человеком, и я, еще в пору

работы в «Комсомольской правде», не раз пользовался ее советами, когда нужно было разобраться в непростых ленинградских историях, запутанных и конфликтных.

— А я верю в повороты! — произнесла вдруг Немцова. — Скоро ли, нескоро, но они наступят.

— Вы, Зинаида Николаевна, неизлечимый оптимист.

— Причем сперва поворот будет к чему-то такому, что уже было. Опять будут колошматить, как колошматил Сталин. Но это ничего не даст! Экономика заставит пойти на перемены... А что касается вашей истории, — добавила она, — то, по-моему, вы связались с авантюристом, который, вольно или невольно, проявил себя как провокатор. Поймите и зарубите на носу: в наших условиях действовать можно только внутри партии и вместе с партией. Иначе погибнете.

Встреча с Немцовой не добавила ясности.

Возвращаясь мысленно к этой теме, я все время думал: ошибочен ли был избранный нами путь? Никто насильно не загонял нас в дом к Рему Горбинскому, это был наш собственный, добровольный и осознанный выбор. Но что значит «только с партией»? О чем Немцова ведет речь?

Мы и начинали — вместе с партией и внутри нее. Не сразу возник замысел Соляриса. Он созрел не один год. В моих бумагах сохранилась пометка: «...4 октября 1971 года. Моросит дождь. Зябка». В тот день выпавший утром снег лежал местами на асфальте, холодя все вокруг, и Горбинский, открыв дверь и увидев меня мокрым, вздохнул: «Когда все это кончится?» — посетовал на погоду, а прозвуча-

ло — когда вся эта издерганная жизнь прекратится? Когда наступят перемены?

Еще свежи были воспоминания о Чехословакии. Газеты бились в истерике, клеймили Солженицына, мировой империализм, разоблачали шпионов и предателей-диссидентов.

В этот день, 4 октября, я узнал, что умер журналист Овчаренко, и, грешным делом, подумал: уйди он раньше, до Праги, не написал бы своих верно-подданных статей, пришлось бы искать другого. И память о человеке осталась бы чище.

Мы сидели с Ремом, как всегда, на кухне. Рем развивал идеи, которые потом легли в фундамент нашего общего дела.

— Большевизм питался аскетизмом, — размышлял Рем. — Он и был аскетизмом, монашеским орденом, сыгравшим на нужде. Потом они надели кожаные куртки и никак не могли понять, что же это масса все ест да пьет, все обогащается и гонится за удовольствиями. И стали набрасывать узду. На этой почве вскормил себя Сталин.

Я слушал и думал: а мы кто? Опять орден? Опять самопожертвование, чтобы для кого-то устроить светлый хлеб?

Рем писал в ту пору свою «Записку», отдельные фрагменты ее он проговаривал то с одним, то с другим в кухонных посиделках. Вот теперь я, его новый приятель, сидел за столом, усыпанным хлебными крошками. Вникал.

— Сталинизм тридцатых и сороковых годов, — изрекал Рем, — был делом мерзавцев, опиравшимся на слепой энтузиазм народного большинства и поддержку лучших, честных, веривших элементов

из молодой поросли кадров. Сталинизм нынешний — по-прежнему дело мерзавцев, но оступившееся в бездонную яму народного равнодушия или недоверия и теряющее опору в лице лучшей, честной, верящей кадровой молодежи. Это, конечно, не означает, что сталинистские настроения вовсе чужды народному сознанию. Часть рабочих еще мыслит вспять, еще мечтает об абсолютном, непререкаемом, обоготворенном хозяине как о все-сильном защитнике от низовых притеснителей, как об управе на местных супостатов-расхитителей. Сталинизм вообще есть, в известной мере, мечта работника-нехозяина свести счеты со своим повседневным унижением при помощи некоей высшей и жестокой справедливости. Бессилие ищет верховную силу отмщения. Но такой «сталинизм» есть критика бюрократии, форма ненависти к бюрократии. В истории нередки случаи, когда прогрессивное общественное настроение зарождается в одеждах реакционных утопий. Подобно грязному животному, пожирающему собственные экскременты, сталинизм ныне питается за счет своих же выделений, продуктами собственных отходов: массы спасаются от его коренных уродств и главных следствий в воспоминаниях о его мифологизированном юношеском буме.

Я внимал идеям, облеченным в публицистическую форму, и соглашался с Ремом. Много из того, что я услышал, было мною самим проверено — и в Сибири, и в поездках по стране. Я видел руки шахтеров с вкраплениями мелких угольков под кожей, — так и сталинизм, думал я, стал людям чем-то родным и близким.

Рем говорил о бюрократии, о многоликом «аппарате», ставшем монопольным собственником средств управления людьми, вещественными процессами, а значит, и собственником средств производства.

— Суть не в том, что номенклатура управляет, — подчеркивал Рем, — а в том, что она присваивает командные функции в качестве частной привилегии. И поэтому не может управлять хорошо.

Из его размышлений вытекало, что такой управленец-бюрократ, с одной стороны, член монополистической корпорации, соучастник-собственник, а с другой — труженик управления, а значит — скрытый коллективист. И Рем полагал, что рано или поздно труженик будет отделен от собственника и, поняв, что на отдельном «клочке» ему не выбиться, склонится к антибюрократическому кооперированию управления. Иными словами — к демократизации.

Звучало фантастично, но увлекательно.

— Новое время просачивается в аппарат! — фонтанировал Рем. — И формирует в нем слой партийной интеллигенции.

Этот слой, говори он, конечно, тонок, разрознен, постоянно вымывается подкупом и кадровым отбором, густо проложен карьеристами. Однако, считал Горбинский, слой этот может пойти на союз со всей общественной интеллигенцией, если к тому сложатся благоприятные условия.

Это вдохновляло. Значит, все-таки надо идти с ними на контакт, думал я, искать точки соприкосновения. И ждать, когда наступит время.

— И какова же наша с тобою роль? — спросил я Рема. — И таких, как мы? Ждать, когда в этом

твоем «просвещенном» партийном слое появится новая личность и начнет проводить реформы?

— История — большая оригиналка, в том числе и в формах, которые она изобретает для социальных революций. Преобразование в нашей стране может стать в решающей мере преобразованием посредством слова.

Рем выделил: «Слова!» Он говорил, что идея, овладевшая массами, ныне способна проявить себя «материальной силой» в почти что прямом смысле.

— Прадеды выводили на площадь мятежные полки, деды и отцы звали на улицы железные батальоны пролетариата, а мы должны вывести в каналы информации отряды точно стреляющих идей. Бюрократические твердыни будут разваливаться под ударами самой мысли.

Я слушал вдохновенные речи и пытался представить, как это будет происходить. За окном — семидесятые годы, всё смолкло и затаилось. О каком штурме бюрократических твердынь посредством слова говорит мой новый друг?

Но я не мог отказать Рему в анализе и логике размышлений. Уже нет былой крепости режима. Может быть, действительно, не сегодня, так завтра, наступит пора, создадутся предпосылки и можно будет толкнуть режим колебанием слова?

— Слово, как и порох, стреляет только сжатым! — воскликнул Рем. — Надо сжать научные воззрения в более или менее лаконичный сборник программных работ. Создать «Библиотеку»! Это программа, двенадцать — пятнадцать теоретических работ, обосновывающих ее, и значительное количество пропагандистских «полуфабрикатов»,

подготовленных для разъяснения программы и широкой идейной борьбы. Возможно, все ограничится задачей теоретического свойства, но и это немало. Однако, если в стране возникнут кризисные явления, программный документ должен быть внесен в руководство партии и в общественное мнение от имени авторитетнейших представителей научной и партийной интеллигенции.

— Для чего?

— Чтобы потребовать общепартийной дискуссии.

— А они будут ждать, когда мы все разработаем и потребуем, да?

— Нет, ждать не будут. Но это особый вопрос. Ты прав в том, что нужна уверенность, что наши идеи кому-то из них нужны. Если таких сил нет, значит, не время высовываться. Но если такие силы обнаружатся и если они будут заинтересованы в обсуждении поставленных вопросов пусть даже на самом «верхушечном» уровне, значит, пришла пора действовать. И неважно, какими мотивами будут руководствоваться эти силы, будут ли они идейными сторонниками нашей программы или захотят «подобрать» ее положения в собственных групповых целях, все равно мы должны быть готовы и не упустить шанс, даже если это какое-то подобие «парламентского пути» к демократическому социализму и на начальном этапе роль парламента сыграет карикатурная внутриерархическая трибуна. А в идеале, конечно, развертывание общепартийной, а затем общенародной дискуссии, устной и печатной.

По мысли Горбинского, только дискуссия парализует бюрократический абсолютизм. И задача

сторонников «Библиотеки» состояла в расширении и углублении дискуссии, если, конечно, она будет допущена. Причем углублении в сторону последовательных социалистических выводов. Иного Горбинский не допускал даже в тайных замыслах. Он и «Библиотеку» именовал «марксистской». И считал, что надо разгромить и окончательно захоронить сталинские концепции в общественных науках и массовом сознании, но при этом решительно бороться с малейшими антисоциалистическими отклонениями.

Здесь у меня в сознании возникала некоторая «шизофрения». Уже немало статей, попадавших в мои руки, так или иначе подвергали сомнению веру в единственно правильный путь. Ни одна из подобных работ не имела шанса быть опубликованной, как и оригинальная статья о «крестьянской приусадебье», написанная нашим собственным сотрудником Львом Макеевым, недавно появившимся в «Младокommунисте». Она вызвала переполох среди «марксистов» и сторонников «социалистического выбора». Макеев показал мне и свои наработки в сфере «черного рынка» в наших условиях, и там уже не было места даже «социализму с человеческим лицом». Мысль познакомить его с Горбинским отпала сама собой.

Я же в ту пору склонен был доверять привычному. «Социалистический выбор» казался мне вполне домашним, вот только освободить бы его от пакоостей сталинизма — и все наладится. И даже то, что кто-то из партийных «боссов» «подберет» нашу программу, когда мы ее разработаем, и использует в своих, не вполне адекватных первоначальному замыслу целях, не смущало меня. Вот и Рем гово-

рил: «Наше слово может стать их делом». Но при этом подчеркивал, что речь идет не о петиции, а о понуждении, не о просительном действии, а о революционном. Это, конечно, вдохновляло.

Наконец, после нескольких месяцев бесцельных прогулок и бесполезных поисков места под солнцем, меня и Лямкина вызвали в КПК — комитет партийного контроля.

В старинном здании на пригорке над площадью Ногина, в кабинетах за тяжеловесными дверями, заседали жрецы и жрицы разного ранга. В кабинетах этого дома разбирались с проштрафившимися партийными бонзами, номенклатурными валютчиками, с теми, кто посмел опозорить честь партии. И еще до кабинета Главного Жреца многих хватал удар. Мне же и Лямкину предстояло дойти до конца и предстать пред грозные очи.

Шесть раз, с интервалом в неделю, меня вызывали и допрашивали, уже по-партийному, без церемоний. Три часа допроса, три часа собственноручного «доноса» на себя — чтобы оставались следы. Методично выпытывали, но не много преуспели. Мы с Фомой гнули свою линию: «Знать ничего не знаем».

Что было, то было, а чего не было, того не было — твердили мы. Лямкин говорил, что читал Бердяева, а я каялся, что провожал Полуянова. Грешны! Но ни о каких «Записках» слыхом не слыхивали. Рем Горбинский говорит, что давал почитать? Это на совести Рема Горбинского.

На допросах мне ставили в пример Лямкина — спокоен и рассудителен. А вы, говорили мне, амбициозны.

Перед очередным заходом — нас вызывали всегда парой и разводили по разным комнатам — я спросил:

— Фома! Ответь-ка, дружочек! Чем ты так обворожил наших новых знакомых?

Лямкин молча показал извлеченную из кармашка пачку таблеток, которыми его снабжала жена.

Я прочитал: «Сильнодействующий транквилизатор».

— Дай-ка глотнуть! — попросил я.

Через десять минут коридоры КПК уже не казались мне такими мрачными, а мужеподобная старуха с жабьей головой, которая меня допрашивала, рядовая Ордена Святой Каббалы, уже не отталкивала своим видом, хотя и кричала мне: «Вы не искренни перед партией!»

Мне стало вдруг все до лампочки. В душе я соглашался: конечно, не искренен. А на словах повторял, что никого так не любил, как партию.

Вечером позвонил Рем Горбинский, попросил заехать. Его тоже таскали в КПК. И предстояла очная ставка в кабинете Верховного Жреца, но пока без него.

Рем волновался.

— Ну, возьми что-нибудь на себя, — смущаясь, попросил он меня. — Получается, что я вас оговариваю.

— Нет, Рем, — ответил я. — Мы об этом давно договорились. Если попадемся, друг друга за собой не тащим. Ты нарушил условие.

— Ну, скажи хотя бы, что Лациса читал. Или мою статью!

В голосе Рема беспомощность мешалась с раздражением.

— Нет, извини. Никакого коллективного самоожожения. Каждый горит в одиночку. Мы так условились. Твою статью я в глаза не видел! А насчет твоей в комитете и в КПК откровенности я сегодня написал: «Эти утверждения на совести Рема Станиславовича».

— Так и написал?

— Так и написал.

Утром, в уголочке просторного кабинета, больше напоминающего зал, нас свели, как боксеров-профессионалов, чтобы мы перед боем поплевали друг на друга, повыкрикивали оскорбления. Из публики — малый жрец и средняя жрица, по обе от нас стороны.

Я, успокоенный таблетками Лямкина, помотал головой:

— Нет, ничего не читал. Никакого Лациса, кроме Вилиса, и то плохо помню. И никакого «Слова», кроме «О полку Игореве». Рем Станиславович что-то путает. Разговоры были на разные темы. Можно повспоминать, если хотите, но никаких запрещенных рукописей.

— Но вот ведь Рем Станиславович утверждает, что давал.

— Это проблема Рема Станиславовича.

— Рем Станиславович, вы подтверждаете, что передавали Андрею Владимировичу.

— Да, мне кажется, передавал.

— Нет! Рем Станиславович путает: я брал у него Гэлбрейта, издательство «Мир». И больше ничего!

— Ну, может, видели на столе?

— О господи! Да кто же помнит, что лежало на столе полгода назад, тем более на чужом!

Рему Горбинскому было трудно. Шлейф откровенной беседы с генералом тянулся за ним и заставлял принимать правила игры.

То ли мы с Фомой своим тупым упорством разрушили замысел жрецов, то ли что-то изменилось в высших сферах, но только ставка на политический процесс, а значит, и неременное предварительное исключение «из рядов» всей команды — отпала. Отрицательных сторон в таком процессе оказалось бы больше. Судить пришлось бы не каких-то отщепенцев, а «подручных партии». И в конце многодневного, длившегося больше месяца, марафона, нажим жрецов ослаб. И дело покатило к странному финалу.

Мы с Фомой, неискренние перед партией, оказались вдруг ей по-сыновьи дороги. А с искренним блудным сыном надо было как-то поступать, слишком далеко зашел в откровениях, уж больно много на себя наговорил.

На меня и Лямкина стали смотреть, как на мелких шельмецов, от которых никуда не денешься, но которые — в силу новой установки: не судить обычным судом, а только партийным — оказались со своей изворотливостью даже выгодны. Значит, нету в рядах советской журналистики никакой крамолы, никакого обширного заговора, подручные, как всегда, на верном пути. А за дружбу с кем попало накажем! Печенки отобьем, будут помнить. Но атмосферу единства и все более грандиозного ликования мы не испортили.

И перед самым финальным свистком, когда этот матч должен был завершиться, мы успокоились. Старая партийная черепаха с вывалившимися из

орбит глазами, следами базедовой болезни, сказала мне, измученному, в напутствие перед встречей с Главным Жрецом:

— Не волнуйтесь, я думаю, все будет хорошо! — и подобие улыбки коснулось ее морщинистого лица.

Я подумал с благодарностью: «Боже мой, старый и больной человек, ей, наверное, сто лет, а она все на службе» — и решил: «Не исключат».

Но если меня не исключат, то Фому и подавно. А для тревоги были основания. Рема Горбинского исключили из партии. Его мотало из края в край, как матроса на палубе, он то говорил: «Вас не поддерживает народ!» — и слышал в ответ: «Как не поддерживает? За нас голосует 99,9 процентов», — то признавал ошибки, просил оставить в партии, написал Главному Жрецу покаянное письмо, напомнил об отце, друге Ленина. Наконец, наступил час развязки. Надев светлый костюм, Рем пошел на последний бой. Я с Лямкиным и присоединившийся к нам Пальм ждали его у подъезда на площади Ногина. Рем вышел и сказал: «Исключили!» — и все вместе мы направились по Китайскому проезду вниз к набережной Москвы-реки.

Через несколько дней настал наш черед. Расслабленный партдамой, ее «все будет хорошо», я получил первый вопрос:

— Почему вы встречались с Горбинским, исключенным из партии?

Я ответил:

— Я не знал, что его исключат.

Такая логика не подействовала, а только разозлила, за длинным столом зашумели.

Я смотрел им в глаза и не видел обещанного понимания, все складывалось совсем не хорошо. Мне дали слово.

Я, конечно, подготовил свою речь. В конце концов, я ни словом, ни делом не опозорил партию, если иметь в виду ту партию, в которую поверил когда-то мой отец, бомбардир-наводчик в первую империалистическую, примкнувший к большевикам еще в феврале семнадцатого. А разве моя сибирская стройка, где я монтажником вступил в ряды, кидает на меня тень? Или, может быть, есть претензии к моим статьям? Посещение драматической студии при Доме учителя в студенческие годы не прошло даром, я так разогрел себя по системе Станиславского, мне так стало жаль себя, что скупая мужская слеза скатилась по щеке, и я на мгновение вздрогнул: «Чего это я?» — да и с кем я в партии: вот с этим грибами, что тут сидят, семеро за столом? И подумал: «Не будет греха, если я промолчу о Солярисе». Иначе эта слепая машина срежет меня, как колосок, уж лучше поморочить им голову.

Проговорив пятнадцать минут, я, к ужасу своему, вдруг осознал: Главный-то Жрец, сухой старичок с пергаментным лицом, сидевший во главе стола, меня слушает, не перебивает! — и замолчал. Сел и даже повеселел.

И тут сердце оборвалось — начали высказываться члены Комитета партийного контроля. И каждый завершал одним и тем же: «Достоин исключения из партии!»

«Старая партийная ищейка! — горестно вздохнул я. — Обманула!» Я им про отца, про стройку,

а они всё заблаговременно решили. Волна гнева хлынула в голову. И кто знает, что бы я натворил, если бы вдруг меня не подтолкнули и не зашипели в ухо:

— Встаньте, в самом деле... к вам обращается член Политбюро.

Я поднялся, не понимая, что спектакль еще не окончен, и слово за ним, Главным Жрецом Арвидом Пельше. Вертя тощей шеей в жестком обруче воротника, Арвид Янович искал глазами виновника беспокойства и даже обрадовался, когда наконец-то увидел меня за спинами своих подручных.

Пельше сказал:

— Да, мы вас накажем. Но учитывая то, что вы из хорошей семьи, хорошо работали, мы оставим вас в партии. Но постарайтесь выбирать себе друзей. Ну что вы, право, связались. Какие-то подполья. Что у нас, нет газет, журналов для дискуссий? Да пожалуйста, спорьте! Сколько угодно! Но чтобы вы впредь правильно все понимали, мы вас накажем, э-э, товарищ Лушин...

И тут пергаментный старичок произнес то, чего, по правде сказать, я и не расслышал, а лишь потом узнал, какую мне милость пожаловал Пельше.

— Вы можете служить, — сказал старый Арвид подрагивающим, слабым голосом. — Можете остаться на идеологической работе.

В двойных дверях, между которыми образовалась как бы большая, в рост человека, собачья будка, я столкнулся с Лямкиным, его уже запускали следующим, чтобы не задерживать Жреца.

Я шепнул:

— Строгий выговор с занесением.

Фома шагнул мимо и, казалось, не отреагировал, а может, таблеток перепил, выглядел он как бы под кайфом.

И началась другая жизнь. Оброненная Пельше реплика означала: работать дадим, но сначала помучаетесь. Десять лет нас бросало по редакциям, о которых мы прежде не слышали. Дошло до того, что оба приземлились в журнале с названием «Клуб и художественная самодеятельность», где на обложке красовались бело-черные зубы аккордеона.

Я досиживал скверное десятилетие в бесхозном доме в Мароновском переулке, где среди малопонятных контор помещался красивый академический журнал «Наука в СССР», который я называл «Глупой красавицей», так он был бестолков и бесполезен, медлителен и неповоротлив в производстве, и изъяснялся чудовищным языком научной пропаганды. Меня наконец-то взяли на работу в качестве ответственного секретаря редакции, и я от скуки затеял нечто вроде реформы, придумал, как ускорить производство, как оптимизировать прохождение материалов. Ко мне приземлился и мой бессменный товарищ — еще с седьмого класса! — Костя Воровский, давно убедившийся, что за приключениями вовсе не обязательно уезжать далеко от дома, и мы с ним были почти счастливы, машинально водя пером, говоря с милыми женщинами-редакторами полдня друг другу банальности, пили с ними по три раза в день чай, тянули резину, и если бы не походы на овощную базу, куда регулярно выгоняли все редакционное население, можно было бы и дальше заниматься тем, чем занимались вчера и позавчера, выпускать все лучше и все быстрее

«Глупую красавицу», привыкнуть к тесноте и неприбранности старого обшарпанного дома, где в холод отключали отопление, а в туалете не было горячей воды. Под окном, выходящим в уютный, заброшенный дворик, гудели, как шмели, алкоголики, позванивали мирно стаканами. Но вдруг они исчезли! Что-то произошло.

Не в том смысле, что сошел в могилу один маразматик и уронили его гроб, опуская в землю, плохая примета, поэтому не задержался на земле и следующий. Да и новый промелькнул, не потревожив заброшенный дворик. Я слышал знакомый звон и понимал, что все в порядке, в жизни не происходит перемен.

Но вдруг уяснил: звона не было, алкашей смыло.

Так началась перестройка: с антиалкогольной кампании. Но в закоулке, где я обитал, на помойке, где оказался, я о ней еще года два не слышал и, как крестьянин в сибирской глуши, выйдя из тайги, мог бы спросить: «Кто там нынче, ребята? Белые или красные?»

Но вернулся из Афганистана мой старший сын, ринулся в водоворот московских площадей, принес новое слово: «Неформалы!»

Я ходил с ним по Гоголевскому бульвару, смотрел, как он для какой-то газеты интервьюирует московских хиппи, очевидцев и жертв едва ли не первого погрома, учиненного курсантами милиции. И сын сказал мне: «Тебе не кажется, что ты выпал из перестройки?»

Я вздрогнул, как реанимируемый.

А потом позвонил неунывающий Влад Белов и сказал, что все собираются в «Огоньке».

— Иди к нам! — предложил он.

Наступал 88-й год.

Так жизнь, несмотря на перст Верховного Жреца, все расставила по местам. И только в архиве Партии, которой самой недолго оставалось жить, хранился документ, в котором было записано, за что же мне объявили строгий выговор.

Интересная, между прочим, формулировка. Полomали головы, прежде чем записать: «За притупление бдительности и проявление примиренческого отношения к политически вредным разговорам».

Попросту говоря: за недоносительство.

Единственная награда, которую я получил от «партии и правительства» уходящего со сцены государственного строя. И очень горжусь этим.

Глава третья

ПИР РОМАНТИЧЕСКИХ НАДЕЖД

Мне было за пятьдесят, когда меня выдернули из небытия и я оказался в роли ответственного секретаря «Огонька», самого популярного журнала на рубеже восьмидесятых и девяностых годов.

Тем, кому сегодня двадцать, кто погружен в Интернет, невозможно представить себе, как это так — стоять ранним утром в очереди к киоску «Союзпечати», чтобы получить свежий номер еженедельника. Что за бред!

Стояли! Тираж был почти пять миллионов экземпляров. А с членами семьи? Миллионов двадцать жителей страны, жаждавших информации, получали ее из этого, довольно убогого, по нынешним меркам полиграфии издания, а не с экрана телевидения, еще насквозь партийного, и не из «Правды». Параллельно с нами работали «Московские новости», где парадом командовал редкий счастливец Егор Яковлев, известность которого в наших кругах началась еще с «Журналиста». Я мог бы вполне оказаться у него под боком, уже ходил к нему на смотрины, он всячески меня привечал, отдавал мне отдел экономики, настал даже момент, когда

от меня потребовали фотографии для редакционного удостоверения, — и вдруг Егор исчез. Нет, он, конечно, не испарился в неизвестном направлении, а пропал для меня, стал недостижимым. Я ждал, даже сам навещался пару раз в приемную, но мы не были ни друзьями, ни даже близкими знакомыми, и я не мог просто открыть дверь и спросить: «В чем дело?»

А дело было, как я думаю, в старинном дружбе Яковлева — Реме Горбинском.

Словом, мне суждено было оказаться в «Огоньке». А Рем через некоторое время сменил Яковлева и возглавил «Московские новости». Так мы опять поплыли параллельным курсом — и ветер теперь дул в наши паруса.

В редакционном коридоре всегда несколько человек подпирало стену. Или медленно, группой, прогуливались, не обращая внимания на тех, кто спешил по своим делам. Для визитеров сотрудники журнала представлялись странными людьми, они бродили, казалось бы, без дела на пятом этаже здания у Савеловского вокзала и разговаривали друг с другом, показывали друг другу листки, кто-нибудь тут же, на ходу, что-то вычеркивал в гранках. Виталий Коротич, главный редактор, был тут же, находился в центре внимания и был доступен каждому. Именно здесь, в коридоре, решались нешуточные, по редакционным меркам, проблемы, быстро и походя, в буквальном смысле слова. И этот стиль вполне соответствовал времени перемен. Люди уже забыли, как часами приниженно дожидались под дверью у редакционного начальства,

пока оно заметит их и примет, с неизменным при этом раздражением. Теперь все было по-другому, любой сотрудник, последний корреспондент, получавший мизерную зарплату, был уравнен в правах на доступ к телу главного редактора, и Коротич практически никогда не оставался один, рукописи и гранки он читал дома, а утром приезжал рано, и я вынужден был чуть свет отправляться в редакцию, приноравливаясь к его графику. Коротич жаворонок, и я следовал за ним, ибо без ответственного секретаря главному трудно в редакции, секретарь всегда под боком, он — штаб, у него все нити в руках, он обязан ответить на любой оперативный вопрос, выполнить любой каприз, стоически проводить взглядом выброшенную в корзину статью и, как фокусник, вытянуть из сумки замену.

К часу дня Коротич выдыхался и редко досиживал в редакции до двух. Он загружал портфель очередной порцией материалов, среди которых было и то, что подсовывали ему местные ловкачи и многочисленные друзья популярного редактора. Усвоив его распорядок дня, они с утра дожидались его у дверей, ловили в коридоре и совали в руки свои рукописи. Наутро меня ждали сюрпризы, не всегда приятные. Обладая безупречным вкусом, Коротич иной раз не находил в себе силы отказать автору, тем более если это брат-писатель, и тогда он забежал на две секунды ко мне в кабинет, виновато совал в руки статью и говорил: «Посмотрите». И тут же забывал о ней. Если статья появлялась у него на столе в виде гранок, значит, так тому и быть, а если мне она не нравилась, Коротич редко вспоминал о ней и не настаивал на публикации, он был лишен

самовластного упоения собою как «вершителя судеб» и предоставлял своим сотрудникам право разбираться самим. Но иногда, обремененный старыми связями, он приносил в секретариат материал уже со своей визой, и я не сразу понял, как я должен реагировать. Как прежде? Исполнять волю главного? Тут же — в набор? О, нет! Пришли действительно другие времена. Теперь, если главный редактор появлялся и напоминал о каком-нибудь таком «произведении», застрявшем в завалах секретариата потому, что душа к нему не лежала, мы его находили и шли к Коротичу разговаривать. Иногда его доводы были убедительны, а бывало и так, что наши соображения оказывались весомее и мы помогали главному избавиться от очередной «протекции».

Это превосходно умели делать мои заместители — улыбчивый толстяк Володя Непийвода и маленький крепыш Семен Елкин. Против их воли, людей, которые формировали номера, трудно было толкнуть макулатуру.

Что говорить, с таким главным хорошо работалось.

Когда «пташка», как между собой мы называли Коротича, улетала из редакции навещать заморские земли, а потом возвращалась и никак не могла освоиться, выпав из ритма еженедельника, и литературные друзья, используя удачное время, принимались особенно яро атаковать «Огонек», слетаясь как мотыльки, и статьи с визами начинали всерьез мешать работе, на помощь приходил заместитель Коротича серый кардинал Глеб Пущин, человек редкой выдержки, всегда спокойный,

холодно-невозмутимый, которого Коротич слегка побаивался.

Коротич отвечал за стратегию, он царствовал. Глеб управлял, держа на пульсе конторы свою невидимую длань. Был еще один зам, милейший дядька, доставшийся от прежней власти, может быть даже и с погонами, не знаю, но если и так, то он напрочь перековался, новому делу не мешал, смелых статей не рубил и даже сам, бывало, бросался на их защиту.

Четвертым среди начальства был я. И очень скоро понял, что мой удел — пахать и испытывать беспредельное удовольствие.

Редакция «Огонька» конца восьмидесятых представляла собой пестрый конгломерат, особенно в первый год после появления в ней Коротича. Немалую долю составлял балласт, доставшийся от прежних времен, — Коротич, как истинный демократ, никого не увольнял. Он послушался совета Влада Белова, который сказал ему: «Вам нужен человек, который всех их нейтрализует? Возьмите Лушина». Этот хитрец Белов, мягкий и улыбчивый, объяснил мне мою задачу: «Они будут приносить тебе ерунду, которую нельзя печатать. Коротич не выдерживает, они ему надоедают, ходят, клянчат, ему надо помочь, а помочь лучше других сможет только ответственный секретарь, через которого проходит каждая строчка. Вот ты и поможешь! Только ты в состоянии с ними разобраться, тебя они не перешагнут. Они же не умеют ничего делать, кроме того, что делали при Софронове, и заваливают редакцию очерками про пограничников и рыбаков, снимками сахалинских вулканов и прочей чепухой».

Лишь спустя неделю, когда я разобрался с рукописями, скопившимися в секретариате, я понял, во что меня втравил мой добрый друг. День за днем я вел бесконечные разговоры, изматывавшие меня, потом опять читал «обновленные» варианты и вновь возвращал, вызывая негодование многих старожилов редакции. А Елкин и Непийвода, как охотничьи собаки, рыскали по кабинетам, вынюхивали, прислушивались, выискивали настоящий «огоньковский» материал. Их нельзя было ни обмануть, ни заболтать, ни усыпить, ни испугать авторитетом главного редактора, который якобы благословил на создание шедевра. Журналистское чутье делало из них превосходных ищеек. И конечно, все проклятия недовольных обрушивались на мою голову, раз я взялся играть роль главного волкодава. Что поделаешь, мы находились в первом окопе обороны, защищая пространство журнала как от собственных борзописцев, так и от напиравших со всех сторон голосистых авторов, стремившихся во что бы то ни стало напечататься в самом популярном журнале страны. Это были первые месяцы нашей внутриредакционной гражданской войны. Ситуация изменилась, когда отделы обновили свой состав, когда пришли единомышленники. И теперь мы из хорошего выбирали лучшее и всегда находили «гвоздь» номера.

Наконец настал момент, когда сформировалась группа авторов, которые по своему профессиональному уровню, по отстаиваемой позиции укладывались в концепцию журнала, а их работы были созвучны времени. Точно так же мы строили взаимоотношения и со своими штатными сотрудниками:

не ссорились, не унижали, не предлагали «написать заявление». Мы отказывали не им в праве на журнальную площадь, а их материалам, мы говорили: «Друзья, почитайте собственный журнал! Работайте так же, если можете».

И кто-то сделал над собой усилие и смог прыгнуть выше головы, а кто-то не смог. Или не захотел — из принципиальных соображений. Не надо думать, что либеральные идеи и новая эстетика перестройки, все эти битвы с КГБ, мемуары бывшего зека Георгия Жженова или «Остров Крым» Василия Аксенова и тому подобное — все это было редакционному народу по душе. Отнюдь.

Блистательные перья, ярчайшие публицисты, светлейшие головы — именно такие люди стали нашими гостями, вернее, коллегами, приносили к нам в редакцию свои статьи. У нас хотели печататься и актеры, и ученые, и писатели, и новая волна политиков — именно они сделали журналу славу. И, конечно, наши собственные журналисты, талант которых, быть может, был прибережен и ждал этого удивительного времени. А мы, работавшие в секретариате, играли роль санитаров леса — отбраковывали, удаляли, были «чистильщиками» и одновременно чернорабочими редакции. Вместе с отделами участвовали в разработке идей, обсуждали витиеватые изгибы авторского замысла, и я тешу себя надеждой, что и мы внесли в общий успех дела свою лепту.

«Огонек» стал чрезвычайно популярным. К нам хлынули сотни людей, нуждавшихся в какой-то поддержке, не видевших иных путей решить свои проблемы, и те, кто просто хотел известности. До-

статочно было маленькой заметки, опубликованной в «Огоньке», чтобы автор выбрался из ямы забвения и получил шанс для новой карьеры.

Сколько было таких забытых, но когда-то громких имен, сколько людей было отодвинуто новым временем — быть может, и справедливо, — однако человеку свойственно не принимать такого приговора, не признавать его. Поэтому вокруг «Огонька» крутилась тьма-тьмущая пишущего народа, и мы могли выбирать. Такая уж была жизнь. Иначе журнал не выполнил бы своего предназначения.

Я помню, как пришел Олег Попцов, который в пору наших экспериментов в «Младокommунисте» работал рядом, в «Сельской молодежи», и пытался модернизировать это комсомольское издание, что было непросто во времена застоя. Активный, деятельный человек, он страдал, по-моему, от двух вещей — небольшого роста, мешавшего ему чувствовать себя комфортно в кругу высоких мужчин, и скудных масштабов для творческой руководящей деятельности. Попцов — это, конечно, наша российская фигура наполеоновского замаха. В закоулке ей всегда тесно, душе такого человека нужен масштаб. По виду Олега я понял, что дела его плохи, он искал себе применения. А принес текст страницы на две, который я пробежал глазами, и отдал своим замам, то ли Елкину, то ли Непийводе, и до сих пор корю себя за то, что в затурканности не приласкал Попцова, с которым, признаться, не был особенно близок. И если честно, не помню, напечатали мы его заметку или нет, сыграл ли «Огонек» какую-то роль в будущем стремительном взлете Попцова. Но спустя годы

я получил в подарок книгу «Хроника времен царя Бориса» — с автографом.

В редакцию то и дело приходили журналисты, литературные критики, историки, активисты «Мемориала» и даже церковные обновленцы, вроде Глеба Якунина, которого повсюду сопровождал тоже мой старый знакомый еще по «Комсомольской правде» Владлен Болтов, человек вечно второго плана. Его фигура всегда маячила за спиной патрона. На этот раз — за спиной Якунин, который принес в редакцию свою религиозную прокламацию. Журнал поддержал его в борьбе с церковными иерархами. Потом Болтов, насколько я мог судить, оставил Якунина и замелькал на телеэкране позади Сергея Ковалева, главного правозащитника. Заметил я его и за спиной Александра Исаевича Солженицына, держащим зонтик над головой писателя. И всегда Болтов молчал. А я всякий раз с ужасом ждал — вдруг поднесут к нему микрофон. И что тогда произойдет? Ибо помнил горячие дискуссии на шестом этаже здания, где размещалась «Комсомолка», и то, как Болтов, силясь выразить мысль, торопливо, безумно заикаясь, брызжа слюной, никогда не мог договорить фразу до конца — его перебивали, не в силах дослушать: так чудовищно он был косноязычен. И очень горяч.

Благообразный, отпустивший бородку «под Ильича», Владлен полысел и даже, как показалось мне, похудел и повосковел. Держался солидно, но по-прежнему помалкивал. И вдруг однажды, в пору появления на экране первых думских депутатов, Болтов, оказавшийся среди них — уже сам депутат, — заговорил, да как складно.

Из прежней жизни вдруг возникло еще одно лицо — мудрое «татаро-монгольское» лицо Юрия Карякина. Он пришел в «Огонек», узнал, что я работаю в секретариате, зашел и отдал свою, ставшую потом знаменитой, «Ждановскую жидкость», превосходную статью, которая засверкала даже в соцветии «Огонька». Опасаясь раздраженной реакции доживавшего свой век ЦК, мы постарались упрятать ее поглубже в недра номера.

Карякин — один из тех, кто вынашивал в своей душе реформы в России, но, увы, не преуспел в реальной политике. «Шестидесятники», дети двадцатого съезда, сыграли, конечно, заметную роль в переменах в стране. Вряд ли можно говорить, что они выпестовали Горбачева, а потом сваяли Ельцина, но они поддержали их, они подготовили и провели в России гигантский всеобщий умопомрачительный митинг и похоронили КПСС — это, безусловно, так. А вот когда «процесс пошел», как выражался Горби, их, продолжавших жить в прекрасном и яростном мире площадей, оттеснили на обочину. Откуда ни возьмись набежали оборотистые и хваткие ребята, бесцеремонные, быстро сообразившие, что надо делать. Как-то очень поспешно настала пора циничных карьеристов и бритоголовых рэкетиров с добродушными курносими мордашками — а такие как Карякин, писатель, знаток Достоевского, философ, чудом оказавшийся на короткое время в роли «советника президента», были жестоко оттеснены и забыты.

Но это позже. А пока на дворе пик горбачевской перестройки, пир романтических надежд, упоение

борьбой, которая ценилась выше, чем цели, а о потерях и трофеях вообще не думали.

Кто тогда был в редакции?

Ядро ее составляли новые люди. Лидировал отдел литературы — поэт Олег Хлебников и критик Владимир Вигилянский. Один мягкий и нежный, другой стремительный и язвительный, даже внешне похожий на Виссариона Белинского, с такой же острой бородкой. У них была масса помощников, авторов, литераторов, публицистов, каких-то виртуозных добытчиков архивных документов. В других отделах выделялись Анатолий Головков и Георгий Рожнов, волей обстоятельств оказавшиеся на поле брани, где шла схватка «Мемориала» с КГБ. В ту пору в редакции рядовым сотрудником работал Артем Боровик, всегда стремительный, собранный, деловой, воплощавший собою американский опыт, которым он был переполнен, побывав за океаном. И внешне полная ему противоположность — Валентин Юмашев, которому досталась доля заведовать двумя десятками женщин, отделом писем. На вид простоватый, улыбчивый, длинноволосый парень, зимой в свитере, летом в футболке, он не только справился со своеобразным коллективом, но стал выдавать со своего четвертого этажа на пятый, в секретариат, потрясающие подборки миниатюр — то, что вылавливали подчиненные ему немолодые дамы из тысяч приходивших в редакцию писем.

Среди заметных эпизодов моей работы в «Огоньке» — история со статьей следователей Гдляна и Иванова об узбекских делах. Коротич предложил снять ее из номера. Редколлегия не согласилась. Тогда главный сказал: «Давайте хотя

бы изменим финальную фразу» — в ней речь шла о высокопоставленных взяточниках. Коротич хотел написать: «Возможно, берут взятки». Ему ответили: «В таком случае вообще не печатайте!» Коротич страдал, это отражалось на его лице, но мы, его подчиненные, были жестоки. Наш замечательный Виталий Алексеевич привык уже быть властителем дум, играть роль самого смелого человека в стране, он, как мотылек, порхал над костром, ни разу не опалив крылья, но теперь можно было реально сгореть. Он это понимал. Его заморские вояжи все удлинялись и учащались, из одной столицы в другую, на Запад, на Восток, за океан, он брал интервью у президентов, премьеров, коронованных особ — ведь это так замечательно. Но надо, оказывается, еще четыре раза в месяц выпускать журнал, забивать очередной гвоздь в гроб тоталитаризма. А подчиненные все усердствуют и усердствуют... Что же делать? Сомнения терзали этого милого человека!

— В конце концов, это ваше право главного редактора снять статью из номера, — сухо сказал Глеб Пущин. — Или мы публикуем так, как есть, или не публикуем вовсе.

Все смотрели на Коротича в упор, и тому некуда было деться от этих взглядов. Надо отдать ему должное, он решился.

По его карманам были рассованы документы: здесь письмо на имя Горбачева, здесь дополнительные подробности, цифры, а тут — главное — список взяточников, которые не названы в статье, самые высокие партийные вельможи. С таким вооружением, когда статья уже была опубликована,

Коротич пошел в Кремлевский дворец, где как раз в эти дни проходила партийная конференция, чтобы прорваться к трибуне и, если удастся, все сказать, что осталось за кадром статьи, а потом сделать всего два шага к столу президиума и лично вручить пакет генеральному секретарю ЦК. Такие были игры.

Коротич отправился в Кремль, а Пущин, и я, и еще несколько человек сидели в его кабинете у телевизора и смотрели неотрывно на экран: вручит или не вручит?

Кого мы печатали в «Огоньке»? Критиков Татьяну Иванову и ее однофамилицу Наталью, Бенедикта Сарнова, Наталью Ильину. Выступали Лев Аннинский, Борис Васильев, Станислав Рассадин, Гавриил Попов, тогда еще профессор МГУ, поэты Булат Окуджава, Белла Ахмадулина, Евгений Евтушенко, Александр Башлачев и Александр Аронов, Юлий Даниэль и Юрий Левитанский, Юрий Кублановский, не говоря о Евгении Рейне, давно любимом. Мы печатали стихи Галича. И — с продолжением — «Матренин двор» Александра Солженицына, с цитатами из высказываний тех, кто его травил: Михалкова, Катаева, Симонова, Бондарева, Проскурина, Алексеева... Именно у нас появилась «Школа для дураков» Саши Соколова. А публицистика Василя Быкова и Бориса Можаева? А статья Эльдара Рязанова «Почему в эпоху гласности я ушел с телевидения»? А Лев Разгон, Георгий Жженов, Фрида Вигдорова, Александр Каневский, Андрей Смирнов, Анатолий Рыбаков, Алесь Адамович, Виктор Ерофеев, Владимир Войнович и, наконец, Сергей Хрущев с его воспоминаниями об отце? Это был действительно парад гласности.

К нам пришли многие из тех, кого я знал прежде, — или как авторы, или работать в штат. Александр Радов, знакомый мне еще по «Интегралу», и Александр Минкин, в беспощадности и бескомпромиссности которого мало кто мог усомниться. Появилась очаровательная Аллочка Боссарт, как будто я все еще сижу в «Младо-коммунисте», а на дворе семидесятые, — глядя на нее, я никогда не мог понять, какой за окном год, эта милая женщина если и менялась, то только в одном: ее перо, которым она виртуозно владела, становилось все более острым и злым.

Это лишь примеры, я не называю всех замечательных моих коллег и бесподобных авторов журнала. Я уверен, подшивки «Огонька» еще ждут своих исследователей. Еще будут перечитаны добытые собственными корреспондентами журнала сенсационные разоблачения, интервью самых популярных людей в стране, документы, извлеченные из партийных архивов и сундуков госбезопасности. А потрясающие фоторепортажи, лица людей, взглянувших с наших страниц, вроде «Группового портрета свинок на пленэре» Юрия Роста, это те, кто были нашими героями и нашими читателями. И в каждом номере — откровенные письма из проснувшейся провинции. И все это каждую неделю выплескивалось гигантским тиражом и дисциплинированно, в отработанном десятилетиями режиме, доставлялось читателям.

Конечно, редакция менялась. «Болото» притихло. А несколько литераторов, антизападников и «патриотов», как они себя называли, идейно не принимавших линию Коротича, покинули редак-

цию, добавив сил нашим противникам: «Молодой гвардии», «Москве», «Роман-газете», «Нашему современнику». В редакциях этих журналов, полемизировавших с нами, нас считали смертельными врагами и внушали своим читателям мысль, что кто-то умышленно разлагает русское общество, какие-то темные силы, инородцы, а народ — он великий страдалец, этаким младенцем, инфантильное существо, с которым делают, что хотят.

Я помню замечательную статью критика Натальи Ивановой, опубликованную у нас: развернутый ответ писателю Василию Белову, вступившему в полемику, который попытался понять «кто виноват?» и употребил для этого развернутую метафору. Он выписал из «Занимательной зоологии»:

«Появление жучка лемехуза в муравейнике нарушает все связи в этой дружной семье. Жучки поедают муравьев и откладывают свои яйца в муравьиные куколки. Личинки жука очень прожорливы и поедают «муравьиные яйца», но муравьи их терпят, так как лемехуза поднимает задние лапки и подставляет влажные волоски, которые муравьи с жадностью облизывают. Жидкость на волосках содержит наркотик, и, привыкая, муравьи обрекают на гибель и себя, и свой муравейник. Они забывают о работе, и для них теперь не существует ничего, кроме влажных волосков. Вскоре большинство муравьев уже не в состоянии передвигаться даже внутри муравейника; из плохо накормленных личинок выходят муравьи-уроды, и все население муравейника постепенно вымирает».

«Жучки», агенты влияния, евреи, кавказцы — кто там еще?

Валентин Распутин тоже сконструировал себе оппонента-современника и сделал его виновником «исчезновения наций, языков» и «оскудения традиций и обычаев». Полагал, что кто-то хочет «сжечь и пустить по ветру идеалы неразумных отцов».

Однако — каких отцов? Какие идеалы? «Идеалы» сталинизма?

У «вождя народов» тоже были свои «идеалы» и «принципы», заметила Наталья Иванова в статье «От «врагов народа» к «врагам нации».

Она напомнила, что были также идеалы Вавилова и Чаянова. И как объединить все это в «идеалы отцов»? Именно лозунгами «патриотизма» и «гордости» размахивали на партийных форумах, а в «непатриотизме» обвинялись «космополиты» и противопоставлялись народу Шостакович, Зощенко и Ахматова.

Этот спор был бесплоден, в том смысле, что истины в нем нельзя было отыскать.

В ответ мы опять слышали — теперь из уст Юрия Бондарева: «Главное — быть душеприказчиком своего народа».

Другими словами, народ уже покойник — метко подметила Наталья Иванова — и пора исполнить его последнюю волю.

У них были кумиры — Анатолий Иванов, Георгий Марков, у нас — Гранин, Жигулин, Искандер. Они молились «Вечному зову», а Анатолия Иванова считали страдальцем эпохи застоя, мы помнили о Беке, Гроссмане, Дудинцеве, Твардовском и Солженицыне.

Они не хотели упрощать «сложную фигуру Сталина», личность, по их мнению, шекспировского

накала страстей, восхищались заслугами вождя и по-прежнему называли его великим государственным деятелем, благодаря которому страна превратилась в могучую индустриальную державу и победила фашизм. Мы же считали такой взгляд бредовым, а Сталина если и шекспировского масштаба, то преступником.

Апофеозом реставраторских настроений стало «письмо» преподавательницы из Ленинграда Нины Андреевой, которое опубликовал в «Советской России» Валентин Чикин — журналистские его уши выглядывали из-за каждой строки. В «Огоньке» сходу подготовили ответ, а я нашел место в готовом к выпуску номере, но дело затормозилось. Коротич решил позвонить Александру Яковлеву в ЦК. Не из осторожности, а как раз наоборот, из чувства азарта идейной борьбы, будучи вполне уверен в своей правоте. Просто чисто по-человечески захотелось похвалиться: вот, мол, какие мы оперативные и сообразительные. Я в ту минуту как раз сидел в кабинете главного, когда он, взяв трубку, без труда дозвонился до Александра Николаевича. Бодрым тоном, как о деле ясном, рассказал о том, что в номере уже стоит наш ответ на чикинский — а в действительности лигачевский выпад

И вдруг лицо Коротича поскучнело. Через минуту он положил трубку, а мне сказал: «Снимите из номера наш ответ».

Через некоторое время «Правда» разразилась редакционной статьей, которую — все об этом говорили — написал сам Александр Яковлев.

Публицистические дуэли на страницах противоборствующих изданий все чаще сопровождались

общественными акциями. Обстановка накалялась. На надгробиях с нерусскими фамилиями стали появляться намалеванные белой краской фашистские кресты. Во время встречи Коротича с избирателями балкон клуба заполнили гвардейцы из общества «Память», кричали: «Желтый «Огонек»! Долой Коротича!» Вывесили лозунг: «Да — национальному патриотизму! Нет — безродному космополитизму!» — и размахивали знаменем с Георгием Победоносцем.

«Огонек» ответил «Неделей совести», проведенной во дворце культуры Московского электролампового завода, в том самом дворце в стиле тяжеловесного сталинского ампира, в котором предпочитал избираться в органы верховной власти великий душегуб.

Перемены в стране встряхнули меня. Жизнь моя преобразилась. От полудремы в Мароновском переулке, неторопливых чаепитий и ритуальных речей на собраниях не осталось и следа. Теперь я сидел посреди редакции, олицетворяющей новый, стремительный стиль жизни, и мне казалось, что судьба бросила меня в эпицентр событий. С утра до позднего вечера я читал рукописи под трезвон неумолкавшего телефона, а дверь открывалась каждые пять минут, чтобы впустить очередного визитера, заходили журналисты, художники, фотокорреспонденты выкладывали на стол свежие снимки репортажей, машинистки находили лазейку, чтобы выплеснуть ответственному секретарю свои обиды, маститые писатели, не привыкшие к манере общения, которая была похожа на судорожную морзянку, пытались фундаментально расположиться

на фоне огромного шкафа с Брокгаузом, который достался мне по наследству от прежних неторопливых времен. И все это — с телефонной трубкой в руке, досказывая последнюю фразу, досматривая последнюю строчку в тексте. Я физически ощущал телеграфность жизни, чувствуя в голове удары пульсирующей крови, а в это время на стул напротив меня опускал свое начинавшее полнеть тело «огоньковский» классик Александр Радов, вернувшийся из командировки и жаждавший, чтобы его выслушали и напоили чаем. Я смотрел на него с тоской, и взгляд мой говорил: «Уйди, Саша!» Галоп, как наркотик, затянул меня, и я уже не мог остановиться, не мог и даже не хотел жить без десятка обязанностей, сидеть рядом с хорошим человеком и обсуждать одну-единственную тему.

Пружина сжималась. Резервы души и тела казались неисчерпаемыми. Я не чувствовал усталости. Спал мало, практически не отдыхал, если не считать короткой прогулки с фокстерьером. Такое трудно представить, но я еще успел, отрываясь от своих служебных обязанностей, сделать несколько материалов, взял интервью у Травкина, Станкевича, Собчака, написал о давней встрече с Андреем Тарковским, рассказал о девяностолетней Зинаиде Немцовой, которая была еще жива и с мистическим ужасом взирала на надвигающуюся лавину новой эпохи. Мне повезло побеседовать с Натаном Эйдельманом, и я успел записать одну из его лекций-экспромтов незадолго до его нелепой кончины. И даже проник в знаменитую светелку Ильи Глазунова, который вдруг привязался ко мне и нашел во мне собеседника. Вопреки вздыбившейся редкол-

легии я настоял на том, что художник имеет право быть монархистом, я сказал, что отказывать Глазунову в пространстве журнала — такой же большевизм. Нельзя, объяснял я, превращать «Огонек» в новый «партийный» журнал. И успел буднично, как частное дело, отнести секретарю нашей парторганизации свой партбилет — не будоража редакцию. Я сделал это до массового демонстративного бегства из партии, до акций театрализованного «сожжения билетов», устроенного Марком Захаровым, и «коллективки» Егора Яковлева, Лена Карпинского и других в «Московских новостях».

Я упомянул здесь имя Андрея Тарковского. Я действительно рассказал в «Огоньке», как это произошло, но поводом послужила не сама эта встреча, вполне случайная, а судьба фресок Андрея Рублева в Успенском соборе города Владимира. Так вышло, что я лет двадцать пять назад, молодым журналистом «Комсомолки», уже пытался спасти их от полного уничтожения и предпринял для этого весьма экстравагантные действия. Теперь в «Огоньке» на обложке и на цветных вкладках мы представили «Троицу» и другие шедевры, и я поведал, как трудно было разглядеть фрески с запрокинутой головой под копотью от свечей и лампад и к тому же в полумраке. Я рассказал, как мы стояли в Успенском соборе с преподавателем философии из Брюсселя, богатым туристом, которого звали Дес Мот и который приехал во Владимир познакомиться с русской культурой. Он был в полном восторге. Такси дожидалось за стеной собора, неумолимо накручивая конвертируемую валюту, а профессор не спешил. И сама Алиса Ак-

сенова, молодая и красивая, уже тогда директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника, водила рукой под сводами: «Посмотрите направо, посмотрите налево...» Потом мы ездили в Суздаль, и профессор Мот, окончательно измотав запас чувств, не в силах уже записывать, что видят глаза и слышат уши, лишь покорно кивал: о да, Россия — сфинкс!

А я, в ту пору молодой и ретивый, уже вышел на тему. В голову лезла одна неприглядность: в районе древних валов собирались сооружать спортплощадку; в центре Суздаля, на базаре, торговали семечками да овощами (а спустя десятилетия добавились стандартные брезентовые павильоны с весьма однообразными сувенирами); нигде в городе даже для бельгийского профессора не нашли туалета (увы, его нет, общественного, до сих пор!); а в СпасО-ЕвфимИЕВом монастыре, где могила Дмитрия Пожарского, размещалась колония несовершеннолетних преступников — двести пятьдесят душ; а в Покровском монастыре — дом инвалидов; а на деревянной церкви, привезенной из села Глотова и собранной без единого гвоздя, красовалась надпись: «Посетили этот сарай Таня Л. Таня М. Люся С.»

И все же главное не это, а то, что я увидел во Владимире в Успенском соборе, украшенном фресками Андрея Рублева и Даниила Черного. Грязь, копоть, паутина, старухи помахивают венниками и тряпкой на палке. Красочный слой разрушается. Зимой, когда открывали двери во время службы, пар окутывал стены, на них, на сводах оседал конденсат. Печное отопление: то жар, то холод. Ни

одного кондиционера. И вечные конфликты экскурсоводов со служительницами храма («Зажгите же свет, не видно фресок!», «Много нагорит! Да и ничего интересного здесь нет»).

Мне показали подшивки служебных бумаг. Председатель Совета по делам Русской православной церкви при Совмине СССР — заместителю министра культуры. Тот — во Владимирский облисполком. А те — ниже, ниже... Потом ответный поток — наверх. И опять туда, сюда. Заключение художников-реставраторов, прошения к властям предержавшим от авторитетных людей, на которые в годы раннего застоя чихали, как и в годы позднего.

Не разглядев толком фресок, но поверив на слово прекрасной Алисе, что Рублев — это грандиозно, я заверил молодого директора, что немедленно начну разбираться в этой проблеме, лишь пообщаюсь с любознательным бельгийским туристом.

История, которую я рассказываю, это частица борьбы многих людей — и профессионалов, и случайных очевидцев беды вроде меня — против трясины, которая поглощала великое национальное сокровище, дико и одновременно буднично.

Вот тогда-то я и нашел еще двоих моих собеседников, — а первой была Алиса, — которые в полной мере разделили со мной мои чувства: тревогу, негодование, желание немедленно что-то предпринять. Этими людьми оказались настоятель Успенского собора отец Аркадий и кинорежиссер Андрей Тарковский, снимавший в ту пору «Андрея Рублева». Фрагменты разговоров с ними (без упоминания их имен) вошли в коротенькую заметку, опубликованную в «Комсомольской правде». Я и

следы ее потерял, так она была мала и незначительна, оскопленная редакторской рукой.

Дом отца Аркадия я нашел с помощью работника обкома комсомола. Он упруго затормозил за сто шагов, наотрез отказавшись последовать за мной. Я вошел во двор, увидел мальчика в голубой матроске и гольфах, запускавшего с помощью катушки пластмассовый пропеллер, других детей, игравших в бадминтон. Пошловато, с наигранной бесцеремонностью спросил: «Ребята! Здесь живет поп из собора?»

И мальчик в матроске, подняв глаза, вдруг ответил: «Да... Это мой папа».

Вам когда-нибудь бывало в жизни очень стыдно? Мне было очень стыдно тогда, когда я шел за этим ребенком, а он, улыбаясь, рассказывал: «Вообще-то меня зовут Саша, но во дворе ребята привыкли называть меня почему-то Алик...» — сообщил он и пожал плечами.

Стыдно стало вдвойне, когда я узнал, что его брат в этом году утонул в Клязьме. Получалось, что я шел в дом, в котором еще свежо было горе.

Отец Аркадий поразил меня и тем, что как две капли воды оказался похож на артиста Названова, и темой своей диссертации: о втором пришествии, и книгой Болеслава Пруса на столе, и светской обстановкой и миловидной попадьей.

Вот его слова в записи тех лет.

— Мне дорог Успенский собор как святыня всеправославной церкви. Но... мы, духовенство, заняты духовной жизнью верующих, нам приходится с трудом строить взаимоотношения с людьми, возглавляющими общину верующих. Я, настоятель,

практических вопросов не решаю, я возмущен, что уборка в соборе, в том числе и фресок Рублева, производится метлами, я предлагал сократить количество лампад — не согласились. Используя собор каждый день для служб, мы сокращаем век рублевских фресок. Собор — достояние народа, и народ в любое время может указать нам другое место, где молиться. Мы, духовенство, это понимаем, а староста нашей общины не хочет этого понять. Поощряет слухи, небылицы, что вот, мол, скоро собор заберут. Дело в том, что эти люди заинтересованы не столько в службах в соборе, сколько в материальной выгоде. А до Рублева им вообще нет дела, они безграмотны... А итог? Вы видели сами, в каком состоянии собор. Люди встают на колени на чугунный пол, а кругом грязь. Я занимаю такую позицию: гибнут фрески Рублева, значит, надо переходить молиться в другую церковь.

На том мы с настоятелем и расстались. Найдя в городе поскорее пишущую машинку, переписав беседу, я поспешил вернуться, и, сгорая от стыда, посмотрел священнику в глаза, и простосердечно сказал: «Подпишите, отец Аркадий, ведь мне же не поверят...»

И тот взял у меня ручку и написал: «Протоиерей о. Аркадий Тыщук».

Но это, как выяснилось, не помогло — слова отца Аркадия не напечатали. Пришлось ждать двадцать с лишним лет, пока настало время «Огонька».

Тарковскому повезло ненамного больше. С ним мы беседовали в местной гостинице на третьем этаже в комнате номер 36, где он жил. Молодой Андрей Арсеньевич, в ковбойке, усы вразлет, ни

на минуту не присел, все время расхаживал взад-вперед и выпаливал в меня очередями коротких восклицаний.

— Это вопиюще — разрушаются фрески Рублева! Я думаю так: у нас свобода веры, но хоть тогда содержите как надо! Церковь носит местечковый характер. Нельзя доходить до вопиющего невежества. Церковь чтит Рублева как мастера, в свое время было решено писать иконы так, как писал Рублев, а теперь Рублев разрушается. Я видел, как он сыплется! За год я вижу разрушения!. И дело не только в том, что Рублев — это русская старина, наше прошлое. Это искусство! Это как Микеланджело! При чем тут взаимоотношения государства и церкви? Надо брать — и все! Если бы разрушался Микеланджело — весь мир бы поднялся. А тут? Ведь им цены нет! Они дороже Рафаэля! А тут служба, пар валит. Такое только в России может быть. И этот безвкусный алтарь — ужасно. Если бы все вынуть изнутри, возродить эпоху. Я был страшно разочарован, думал, Владимирская епархия следит, а тут такой цинизм! Я человек терпимый и к религии отношусь терпимо, но когда церковь оскверняет русскую нацию — это уже вредительство. Мы могли бы их продать за миллионы долларов и построить три атомные электростанции. А мы смахиваем мазки Рублева со стен веником. Зимой штукатурка трескается. И дело тут не в моральной проблеме. И я волнуюсь не потому, что снимаю картину о Рублеве, — это же чистое золото! В конце концов, нужны деньги государству или нет? Постановления, переписка... Какая вообще может быть тяжба?! Нелепость! Сводят конфликт до кухон-

ной склоки. Этой проблемой нужно заниматься на уровне ЮНЕСКО. Тут надо спасать. Промедление подобно смерти. Этот парадокс нужно решать в недели! Старухи в церкви готовы мыть фрески мылом, а мы раздумываем. Они не чувствуют, не думают, не понимают, не могут быть хранителями достояний народа. Надо объяснить им элементарно, побазарному — сколько стоят фрески Андрея Рублева. Тут не на уровне искусствоведения должен идти разговор. Американцы предлагают купить у нас какую-нибудь церковь, мы отвечаем: «Ха-ха-ха!» Разбираем ее по кирпичику и используем в фундамент высоковольтной передачи. Строим в Африке электростанции, тратим деньги на колоссальные общественные движения, а рядом разрушается Рублев, который тоже стоит миллионы. Надо спасать наше духовное здоровье. Удивляет не столько невежество — мы к нему привыкли. Есть масса способов защитить эти памятники и заработать огромные деньги, которые пошли бы на их восстановление. Обидно! Нужно планировать в государственном масштабе, чтобы стояло на века. И не местным властям об этом думать.

Тарковскому повезло чуть больше, чем отцу Аркадию, — в этой моей попытке опереться на них и прокричать о существующей проблеме. Тогда такие материалы в редакциях не воспринимались. Я был молод и неопытен и рад был, что хотя бы что-то напечатали. А когда пришло мое время и я оказался в редакции «Огонька», то конечно, рассказал о той давней истории. И даже позвонил во Владимир, спросил, как теперь обстоят дела. Мне ответили: «Установили кондиционеры, газовое

оборудование для печей». Сам собор стал, как выразились, «благообразнее».

Но на душе оставалось беспокойство. Все ли сделано, о чем говорил Андрей Тарковский, для спасения Рублева «на века»?

Каждодневные заботы, формирование номеров, чтение материалов с утра до вечера, с перерывом на разговоры с авторами, руководителями отделов, корреспондентами журнала, планерки, летучки — бесконечная редакционная суэта.

Плотность событий была невероятной. Но вдруг в этой гонке выпала странная командировка.

Под занавес года я отправился в Запорожье, куда корреспондентов «Огонька» пригласили выступить перед инженерами и рабочими, как будто мы народные артисты. Такие встречи уже имели место в разных городах и представляли собою совершенно невероятное, новое явление. Вот и теперь за столом на сцене сидело несколько человек — Константин Смирнов, Валентин Юмашев, Олег Хлебников, Анатолий Головков.

Я смотрел в зал — полторы тысячи человек пятый час не расходились, на столе лежала внушительная стопка записок, и они все добавлялись. За кулисами в красной короткой юбочке мерзла Людмила Сенчина, которую, призвав для этого на помощь ее мужа Стаса Намина, «огоньковцы» снарядили себе в помощь, не рассчитывая на чистый интерес рабочего люда к политике. Но этому люду не нужна была популярная дива. И хотя она все же попела под фонограмму, зал готов был немедленно вернуться к прерванному разговору.

Растроганный директор автозавода, достав, по выражению поэта, коньяк из книжной полки, спросил: «Ну чего, хлопцы, вы хотите за такую радость, доставленную нам?»

У «хлопцев» была на этот счет домашняя заготовочка. Родное издательство по-прежнему игнорировало заявки редакции и, переводя на счет ЦК КПСС баснословные прибыли, которые приносил «Огонек», не выделяло редакции ни одной машины. И была мысль: может, на заводе из каких-нибудь личных фондов дадут хотя бы парочку «Запорожцев».

— Продайте... — начал я, но не договорил.

Директор, улыбаясь, показал два пальца и сказал:

— Две «Таврии». Из личного резерва. Но за это вы выступите еще в Гуляй Поле. Отвезем вас автобусом.

Вечером сидели в местном ресторане. Сенчина показала в окошко: «Это вон та, что ли, «Таврия»? Сим-па-тичная. Я тоже такую хочу!»

Мы не придали значения восторгу женщины, бросив в шапку свернутые в трубочку записки, тянули жребий — кому из нас достанется автомобиль. Вторую машину решено было передать редакции. Юмашев посмотрел на меня и сказал: «Сейчас выиграет Лушин!» И действительно, я прочитал на своей бумажке три заветные буквы: ЗАЗ.

Через неделю позвонила Сенчина и весело сказала: «Будете брать до Запорожья билет, возьмите и мне». А потом в купе, в долгополой шубе и каком-то не по сезону тонком платочке, обтягивающем голову, без грима и макияжа, неузнаваемо блеклая

и простуженная попутчица сообщила мне, что тоже едет на завод за машиной. Вот, значит, почему нам позвонили и сообщили, что не две машины получит редакция, а только одну. «Как же так? — удивился я. — Ведь сказали: надежно!» Звонивший из Запорожья парторг завода, как выяснилось, большой любитель советской эстрады, мрачно пошутил: «Надежно бывает только на кладбище».

В пасмурный день 19 февраля, после разговора с Евой — повода для ее звонка я не могу вспомнить и никогда не разгадаю этот роковой для меня знак, — я вышел из дома в задумчивости, с тяжелым сердцем. Брел по мокрому снегу мимо гаражей, машинально приласкал дворовую суку, у которой были очередные щенки в ее бесконечной собачьей доле, прошел, переступая через наваленные на пути к гаражу бордюрные камни, расстегнул овчинный полушубок — душно в оттепель! — открыл ворота, выгнал машину и только теперь понял: камни загораживают проезд.

Тогда я выбрался из кабины и, как был, в расстегнутом полушубке, принялся машинально приподнимать метровые каменные глыбы, ставить их «на попа» и отбрасывать в сторону. Один, другой, вот еще немного, я даже двигатель не выключил и слышал: мотор работает. Ничто не предвещало неприятностей. И я не понял, что произошло, а только почувствовал, что сейчас умру.

Дикая, ни с чем не сравнимая боль в груди едва не лишила меня сознания. Я стоял над последним бордюрным камнем, упавшим в снег, отметил мысленно, что теперь путь свободен, можно ехать, но понимал, что ехать никуда нельзя. С минуту я так

стоял, приходя в себя. Боль не утихала. Войдя в меня, она по-прежнему разрывала грудь. Тогда я сделал несколько шагов, чувствуя, что меня начинает сгибать, придавливать к земле. Добрел до машины, сел за руль, загнал «Таврию» в гараж, прикрыл ворота и даже запер их. Все это автоматически, не думая ни о чем, а только повинувшись неведомому инстинкту. И так же, следуя внутреннему голосу, побрел в полусогнутом состоянии к сторожке и рухнул на руки бледного дежурного, успев сказать ему, куда звонить.

Двадцать два дня я провел в реанимационном отделении. Обширный, сказали мне, трансмуральный инфаркт.

Поверх одеяла, на груди, вроссыпь лежали записки из редакции. «Ждем скорейшего возвращения в наши боевые ряды, обнимаем. ПОЛИТотдел литературы. Олег Хлебников, Владимир Вигилянский». «Конечно, ты бы не поверил, если б тебе сказали, что контора восприняла твою болезнь спокойно, — все здорово переполошились. Держись, старик! А в Карабах мы еще скатаем. Анатолий Головков». «Старшему лейтенанту Лушину от рядового Елкина. Рапорт-анонимка. Докладываю: по случаю 23 февраля батальон залег, вставать отказывается, ведет заградительные бои. Кое-кто увлекся перекурами, топчется в нашем штабе и отвлекает вопросами: «Нет ли огонька, товарищ?» Противник пошел в психическую атаку. Некому поднять людей, поэтому слезно просим: «Поскорей возвращайтесь, Андрей Владимирович!» Приписка: «Привет от ефрейтора Юмашева». «Милый, милый, очень без вас скучаем, мы

будем нежно вас любить и беречь. В вашем распоряжении, девочки из машбюро», — подпись неразборчива. «Дорогой Андрей Владимирович, скорее выписывайтесь, а не то журнал прекратит свое существование и, как говорит рядом стоящая Ольга Никитина, превратится в «Playboy». С дружеским приветом, Артем Боровик. А сейчас гляньте в окно!»

Я глянул — внизу, на улице, напротив, стоял крупнолицый, пышущий здоровьем Артем и рядом две редакционные девицы. Я, как Брежнев, помаhal им со своей трибуны слабой рукой, и мне, как и Брежневу, была приятна лесть.

Словом, любовью, только ею одной был я жив. И что поделаешь, если любовь заметнее, когда сама бросается в глаза, а чувства коллег интенсивнее, если заболевают начальники. Но даже если бы на три неискренние пришлась бы одна искренняя записка, мне бы и этого хватило. Я же в те дни ни о чем подобном не размышлял, и повода для сомнения у меня не было.

Летом, после больницы, меня наконец-то подвели к автомобилю, так и стоявшему с февраля в гараже.

— Дайте хотя бы потрогать, посидеть за рулем, — попросил я.

Уселся поудобнее, вытащил из кармана заранее припасенный ключ от зажигания. Наташа, счастливая от того, что выходила меня, наблюдала за мной. Боже, думала она, чем бы дитя ни тешилось, лишь бы молчало. Я тем временем завел двигатель и, благодушно улыбаясь, в три секунды на глазах у оторопевших людей на большой скорости умчал-

ся от них. Проехал по ближним улицам, почувствовал: живу!

А через месяц, опять в роковое 19-е, теперь уже июля, случилось непоправимое — то, чего по самой природе человеческой не должно быть, что противно высшему замыслу, но настигает иных за их ли грехи, за грехи ли их предков, — погиб мой старший сын Владимир, наш с Евой сын. Вернувшись из Афганистана, куда он, сержант-срочник, втайне от меня отправился добровольцем, он начал работать в газете, писал о кровавых столкновениях в Фергане, о наркобизнесе в Таджикистане, был горяч и безрассуден. Что произошло, осталось во многом тайной. Какой-то конфликт, кто-то вызвал из дома, где сын жил с дедом, на ночь глядя, на улицу «поговорить», и парень вышел и был убит двадцатью семью ударами за полтора месяца до своего двадцатисемилетия.

Опустошенный и внутренне разбитый,, я вернулся в редакцию.

Как оказалось, на второй день после того, как я свалился, Коротич зашел в секретариат, где как раз находился Глеб Пушин, и в своей торопливой манере обратился к Семену Елкину.

— Лушин в этот кабинет больше не вернется, — сказал он. — Это очевидно. Занимайте его стол. Действуйте!

Семен стоял, готовый провалиться от стыда, под пристальными взглядами онемевших Пушина и своего коллеги толстяка Непийводы, краска залила его лицо, а сам он, и без того маленького роста, как будто еще уменьшился.

Надо сказать, я представлял расклад сил в редакции, но старался уклониться от внутренних интриг. Демарш Коротича в мое отсутствие, сделанный столь откровенно, означал одно: главный редактор, при всей внешней беззаботности, был очень обеспокоен усилением роли своего зама Глеба Пушина и превосходно осведомлен, кто с кем связан, кто кому предан, кто на кого ориентируется. Поэтому выбор бедного Семена Елкина был неслучаен и, по-своему, коварен. Семен вел себя независимо, соблюдал субординацию, через голову начальства не перепрыгивал, ко мне относился не раболепно, а с трепетом ученика, и если бы он действительно поспешно занял мой кабинет, то потерял бы в редакции лицо. Семен это понимал. И главный редактор проверял его реакцию, но в основном — реакцию своего зама и работавшего в паре с ним другого моего заместителя, украинца с экзотической фамилией Непийвода, человека мягкого, внимательного, но, как все люди, не лишнего самолюбия и тщеславия. Конфликт, а возможно и ссора, оказались у порога.

На следующий день главный улетел, как пчелка, на свою поляну за нектаром, а оставшийся у штурвала Глеб Пушин нанес решительный удар: распорядился прямо противоположно: Непийводе поручил общее руководство секретариатом, а Семену — подготовку материалов, подбор их, словом, то, чем он и раньше занимался.

Когда я вернулся, все как будто возвратилось на круги своя. Формально я оставался ответственным секретарем редакции, но мои заместители, я это почувствовал, уже не нуждались во мне, как

прежде, они, конечно, щадили меня, но и привыкли работать самостоятельно. И я понял, что играю роль лишней передаточной шестеренки, а брать в руки все, становиться опять редакционным волкодавом — мне было уже не по силам. Да и не хотелось, исчез кураж. Что-то неуловимо изменилось в редакции. Я еще не понимал — что?

В коридорах, в кабинетах встречались незнакомые лица, какие-то современные мальчики в замшевых куртках и кроссовках «Адидас», вошедших в моду. Размалеванные дивы попыхивали сигаретами над чашечками кофе. «Кто такие? Чем занимаются?» — спросил я, заглянув к своему другу в отдел культуры, к Владу Белову.

— О! Ты отстал от жизни! — воскликнул Влад. И объяснил суть событий.

При редакции, как грибы, облепившие питающий их березовый пень, образовались коммерческие службы: «Огонек-видео», «Огонек-антиСПИД», какое-то совместное с англичанами предприятие, какое-то издательство в Одессе. У Пущина в кабинете непрерывно происходили совещания, куда меня не приглашали, так как эти сходки не были связаны с выпуском журнала. Я узнал, что секретарша в такой приبلудной конторе получала в три раза больше, чем наш спецкор. Элита «Огонька» в задумчивости поглядывала на то, что происходит, но продолжала трудиться на ниве перестройки за гроши, за спасибо, за доброе слово на летучке. А параллельно шел процесс иного свойства, делались деньги, в редакции появилась должность коммерческого директора. В кабинетах стало теснее, так как часть помещений пришлось отдать пришель-

цам, которые быстро обзавелись компьютерами, ксероксами, принтерами, съемочной аппаратурой и уже с легкой иронией, если не сказать пренебрежительно, посматривали на остальную редакцию так грибок на длинной ножке свысока взирает на вскормившую его плесень. В конце концов элита дрогнула и побежала к новым людям в услужение. Сочинять за хорошие деньги предисловия к книжкам, издаваемым на базе публикаций «Огонька». Или, забросив текущие дела, кропать сюжетец для видеофильма. И уже счастьем считали попасть в кабинет к Пущину, где раздавались такие заказы, а сам Глеб то и дело летал в Лондон и на текущие хлопоты отвлекался нехотя, с гримасой усталости на лице. Заходя к нему, я редко заставлял его одного. Оставив на минуту гомонящую публику, Глеб уходил в угол кабинета, садился по странной своей птичьей привычке на спинку стула, едва доставая ногой до пола, а другую вывешивал и побалтывал ею, и в таком состоянии выслушивал меня, и чаще всего кивал головой, соглашаясь.

Коротич же и вовсе пропал, словно основное его место жительства находилось за границей, а в журнал он приезжал, как в командировку.

В этом неприкаянном состоянии, не будучи хозяином журнала, не имея ни полномочий, ни реальных сил, да и желания повлиять на ситуацию, я покинул редакционный штаб и перебрался в обозреватели, оставаясь членом редколлегии. Теперь у меня не было не только своего кабинета, но вообще никакого служебного места, и большую часть времени я проводил или за письменным столом дома на Кутузовском проспекте, неподалеку от

того злополучного подземного перехода, откуда началось мое путешествие на Лубянку, или под Суздалем, где мы с младшим сыном в ту пору строили бревенчатую избушку, маленькую, по просьбе Наташи, чтобы не выделялась на фоне улицы заброшенной деревеньки.

Я с удовольствием окунулся в привычную атмосферу индивидуального творчества — полжизни я чем-то руководил, а полжизни сам себе был хозяином. Теперь я опять, как вольный казак, ездил по стране и даже летал на самолетах, удивляясь, как выдерживает сердце. Первый такой полет я совершил под опекой Алана Чумака, с которым отправился, по просьбе Коротича, на тусовку экстрасенсов в Дагомыс. Забыв о лекарствах, об осторожности, пил вместе со всеми коньячок, навещал обязательную в таких поездках финскую баню, и даже плавал в бассейне рядом с Чумаком, и однажды попросил местного радиста объявить публике: «В бассейне Чумак!» И народ, решив, что вода заряжена, ломанул в бассейн, снося все вокруг. Словом, я жил неплохо, занимался любимым делом, печатал свои статьи в «Огоньке» и даже успел слетать за океан, к младшему сыну Антону, который в это время, девятнадцати лет от роду, обосновался в Нью-Йорке в художественной студии Марка Костаби.

Глеб Пушин сказал мне:

— Денег мы тебе не дадим, сын прокормит. Оплатим только билет.

Я думаю, Пушин от греха спровадил меня из редакции, не зная, как я поведу себя в случае открытого конфликта между ним и Коротичем, и постарался сделать это подешевле, а может, действи-

тельно всю валюту растранижила редакционная стрекоза, и мне еще повезло, что оплатили проезд.

Это была как бы последняя радость, подарок, клок шерсти с овцы, расплата за рубец на сердце.

Антон снял мне номер в самой дешевой гостинице неподалеку от знаменитой Сорок Второй улицы: сорок долларов в сутки, и даже дали ключ от двери. Две кровати, умывальник и сломанный телевизор. Ночью я проснулся в холодном поту, по кровати деловито передвигалась крыса. Антон спокойно спал рядом. Его дневного заработка хватило бы ему как раз на такое жилье и пару бутербродов, ну, может быть, еще на тарелку травы в кафе «Отрада буддиста», где он, в ту пору кришнаит, питался, поэтому он, чтобы собрать деньжат — за ними он и поехал, — жил то у друзей, то ночевал втайне от администрации на диване в художественной студии. И теперь, гордый своими финансовыми успехами, он вручил мне сэкономленные деньги, и я, предоставленный днем сам себе, пока он работал в студии, ходил по Нью-Йорку и чувствовал себя богачом.

Впечатления от Америки были любопытные.

В одном интеллигентном доме меня спросили:

— Вы не расист?

— Нет, что вы! — поспешно ответил я.

— Будете им, — уверенно произнес хозяин, эмигрант, из бывших наших.

Меня удивило отношение русских эмигрантов к негритянскому населению. Русские выбили черных из Брайтона и теснят их на традиционных участках работы. Но что-то еще, кроме конкуренции, движет ими, какой-то комплекс неполноценности, желание утвердиться в чужом благополучном мире, вымещая

злость на том, кто, по твоему мнению, еще презреннее тебя, но пользуется колоссальными льготами. Я видел: бары, дискотеки, видеосалоны, заведения под названием «Love fantastic» (имитация публичного дома), не говоря о магазинчиках, лавках, кафе и кинотеатрах, — все заполнено с утра и до ночи черными парнями с бычьими шеями. Эти парни то и дело двигают ручками управления игровыми автоматами, швыряют в их зев квотеры один за другим, листают порножурналы, ловят кайф, посадив на колени девицу в трусиках, в полусне закатив глаза. Они повсюду в Нью-Йорке, эти парни, во всех закоулках «Терминала», гигантского автовокзала, где можно, не выходя из него, годами жить. Я спросил знакомого профессора-русиста из Колумбийского университета, почему они кормят такую уйму черных бездельников, не лишают их льгот, привилегий, да еще слушают их бесконечный стон по поводу их униженного положения.

— Да заставьте их работать! — горячился я.

— Нельзя.

— Почему нельзя? Целые поколения живут на пособия. Есть династии, где никто никогда не работал. Перестаньте их кормить!

— Нам это невыгодно.

— Что невыгодно? Невыгодно, чтобы они работали?

— Они не будут работать.

— Как не будут работать? Заставьте! Нажмите на них.

— Тогда они возьмутся за оружие.

Вот, значит, какой расчет! Выгоднее содержать массу развращенных ленью людей, чем втянуться

в конфликт с этой массой. Американцу не нужна лишняя головная боль, и он готов выдержать добавочный налог на содержание иждивенцев. Лишь бы не разжигать социального конфликта. На эти деньги лучшая часть афро-американцев учится, осваивает профессии, вливается в общество, полноценно и демократично. А худшая — деградирует.

Мой сын появился в Нью-Йорке во второй половине дня. Когда он прилетел, Марк Костаби дал ему в качестве аванса сто долларов, а менеджер, очкастая девица, объяснила, что нянек тут нет, вот газеты, подыщи себе жилье. Был уже седьмой час вечера, Антон, с русской неспешностью, пошел прогуляться, забрел в Централ-парк, вроде наших Сокольников, присел на лавочку и стал разглядывать газету, а мимо пробежали студенты и молодые преподаватели университета в спортивных костюмах, катили коляски с младенцами юные мамы, однако начало смеркаться, эта публика исчезла и стала появляться другая, в основном черные парни, к одиннадцати парк был полностью в их власти, и Антон, будучи неприхотливым ребенком — десять лет провел на этюдах в подмосковных лесах, — ощутив тревогу, забрался поглубже в ельник, устроился поудобнее и заснул. А когда утром выбрался на аллею, по парку опять бегали молодые профессора Колумбийского университета.

Когда он рассказал, где провел ночь, на него посмотрели, как на ненормального.

— Ну, русский, ты даешь!

И объяснили, что в Централ-парке ночью нельзя появляться. Это небезопасно. Ночью парк во власти гомосексуалистов, там их тусовка.

Я побывал в студии, где работал Антон. Это трехэтажное здание с раскрашенной красной и синей краской стеной и надписью трехметровыми буквами: «Костаби». В нем и выставка картин, и офис, и студия, где создаются полотна. И понял: Антон — типичный наемник, командос холста и кисти. Я был обескуражен, познакомившись с технологией производства картин. На третьем этаже, в бывшем цехе, между железобетонными колоннами стояли мольберты, штук двадцать. Чтобы художники не замерзли — все-таки декабрь, — над головой у них висел агрегат, нагнетающий горячий воздух, а каменный пол был застелен паласом. Каждый художник устроил себе местечко сообразно вкусу, поляк — по-польски, венгр — по-венгерски, американцы — на свой лад. Антон — по-русски, весьма прочно, с какими-то укромными ящиками, полочками. В стороне стоял испачканный краской музыкальный центр, с грудой разукрашенных от прикосновения к ним руками в краске кассет. Кто-нибудь подходил, менял кассету, и опять грохотала американская поп-музыка.

К мольберту Антона кнопкой был прикреплен небольшой листок — эскиз на ксероксе. Он на него иногда нехотя поглядывал, но больше доверял своей фантазии. Редко в зал поднимался по винтовой лестнице Марк, двадцатишестилетний малый с чертами лица прибалта. Иногда появлялась очкастая Лиз, менеджер-разработчица, которая прежде сидела тут же, среди художников-исполнителей, но потом перешла на второй этаж — создавать эскизы. Насколько я понял, Марк вообще не прикасался к полотнам, кроме того момента, когда он подписывал их своим именем. Возможно, он и эскизы

не делал — для этого существовала Лиз, — а следил за сохранением стиля.

Этот конвейер молотил и молотил с утра до вечера. Мой сын поначалу взял разгон со всей страстью, решил показать, на что он способен. За день закончил картину, на которую ему отвели неделю. Тогда его коллеги, интернациональный коллектив, популярно объяснили ему, что таким способом он больше денег не заработает, Марк платил за время, за часы, проведенные в мастерской. «Понял, русский?» — спросили его. Он, конечно, понял.

Марк Костаби зарабатывал на каждой картине тысяч по тридцать долларов, а своим наемникам платил по семь долларов в час.

— Типичный грабитель! — сказал я.

— Нет, — ответил сын. — Все нормально. Он дает работу молодым художникам. Сюда приходят даже те, кто имеет свои студии. Американцы не упустят случая заработать лишний доллар, если есть минута свободного времени. Это его бизнес, он его придумал. Молодец! Какие могут быть претензии?

Я узнал, как начинал Марк Костаби. Никому неизвестным иллюстратором он приехал в Нью-Йорк и в полной мере применил принцип этого города: хочешь разбогатеть, придумай что-то такое, чего здесь еще нет.

Каждый день в окне своей квартиры он стал выставлять новую картину. Работал с сумасшедшей скоростью, но ни разу не обманул ожидания зевак. Люди, прохожие, шли мимо и видели: опять новая!

И стали ждать, когда же он сорвется. А Марк все рисовал и рисовал.

Это было самое главное: вызвать к себе интерес. Когда Марк продал первые свои работы, он нанял художника, чтобы легче было обновлять витрину в окне. Так родился принцип его бизнеса.

Теперь он миллионер и на стене в студии висит лозунг: «Идеальный художник не рисует!»

Марк периодически меняет свои «дацзыбао». Среди прочих у него есть и такое: «Большинство художников свои идеи продают, я — за свои плачу».

Или так: «Используй натурщицу только тогда, когда закончишь картину».

Это уже служебное правило, установка для персонала.

Да, это было совсем не похоже на нас, делавших вид, что работаем, привыкших «получать» и живших годами в этом состоянии, отвратительном и одновременно счастливым.

— Так хорошие у него картины?

— Хорошие... Но плакат.

— Я тебя не понимаю.

— Попробовал бы он нарисовать руку так, чтобы она бритву просила. Живопись — это когда делаешь живую вещь, такую, что будет изменяться: завтра придешь, она другая.

— Так что же он за художник?

— О его картинах можно говорить. Это уже немало.

Я летел в Москву и вспоминал Костаби с его мечтой построить небоскреб со скоростными лифтами, ресторанами, музеями, художественными студиями, квартирами для художников, этакое жилище муз из стекла и бетона, которое, конечно, окупится и будет приносить доход. А как же иначе? Марк,

объясняя, попросил, чтобы принесли ему карту, и показывал мне, где это будет: «Вот здесь, в Бруклине, на полпути из аэропорта». И я верил: этот парень, которому нет и тридцати, своего добьется. Самоуверенный, счастливый, повторяющий гордо: «Да, у меня прекрасная карьера!» Такой не российский, не близкий нам. Почему мы бедны, почему неудачливы, по чьей злой воле? Или по собственной глупости? Из-за лени? От зависти друг к другу, мешающей нам нормально жить?

С этими вопросами приближался я к дому после американской экскурсии.

Редакция «Огонька» напомнила мне, что я вернулся на родину, встретив грандиозным скандалом.

Журнал готовился к переходу на экономическую самостоятельность и договорные отношения с издательством. Подобные процессы шли повсюду, коммерциализация жизни захватила и редакцию «Огонька»: со всей очевидностью проявился разрыв между тем, что делал коллектив, и тем, что он реально получал. Дочерние предприятия откровенно грабили редакцию, занимались своим бизнесом, нагло эксплуатируя авторитет журнала. Долго так не могло продолжаться, перспектива быть уличенным в злоупотреблениях нависла над популярным человеком — главным редактором Коротичем. Но коммерческими подразделениями руководил не он, а Глеб Пущин, его вечный соперник. И тогда Коротич, мастер интриги не меньший, чем его зам, призвал на помощь своих бессребреников. Сам ли он додумался или кто-то подсказал ему такой ход, оставалось неясным. Но

только была создана редакционная комиссия из людей уважаемых, хотя и неискушенных в таких вещах. С наивностью чеховских персонажей они принялись за дело и, что удивительно, скоро накопали компромата, если не на посадку, то на оргвыводы. Следом за этой самодеятельной группой к проверке приступили профессионалы-аудиторы, и задуманная главным редактором интрига вышла из-под его контроля. Идеалисты, увидев, с какой ситуацией они столкнулись, потребовали от Коротича решительных действий: как минимум изгнать Пушину из редакции. Их довод был, казалось им, железным: нельзя, оставаясь лидером журналистики и рупором идей перестройки, демократизации и либерализма, сохранять у себя «гадюшник». Некоторые фирмы, учрежденные журналом, были не зарегистрированы, не платили налогов, продавали свою продукцию под крышей «Огонька», в том числе и на Западе, их отчисления растрчивались бесконтрольно, а по документам получалось, что финансовую ответственность за них несет журнал. Пушин уверял, что подключит лучших экономистов из ельцинского окружения и регистрирует злополучный отросток «Огонек-видео» на льготных условиях задним числом. Но Коротич отдавал себе отчет в том, что выйди такая информация за стены редакции — «Огоньку» конец, журнал прекратит свое существование. Он взял слово с членов комиссии, что они будут до поры молчать, а он уволит Пушину.

Но время шло. Коротич не собирал редколлегию, только вздыхал, намекая на Пушину и окружение: «Это мафия!» А в стране в это время лави-

нообразно происходили перемены: ушел с арены Александр Яковлев — опора Коротича. Из окружения Горбачева исчезли Бакатин и Шеварднадзе, рядом с ним появились новые сподвижники — Янаев, Пуго, Крючков, Язов. Чуткий Коротич уловил смену вех. По редакции поползло тайное письмо в защиту Глеба Пушина, которое скрытно подписывали. Те, кто первыми сообщили Коротичу о неблагополучии в редакции — литературный критик Вигилянский и Семен Елкин, самые активные в комиссии по проверке дел, — оказались не ко двору. Редакция была на пороге перемен — начиналась работа по контракту. Каждый с нового года выводился «за штаты», и с каждым в отдельности Коротичу предстояло заключать контракт. И люди думали в тревоге: ведь может и не заключить? И в такой обстановке на стене появился приказ: первым, с кем был заключен контракт, оказался Глеб Пушин. И все поняли: главный редактор сделал свой выбор.

Вот в это самое время я, бывший ответственный секретарь «Огонька», а ныне «почетный пенсионер по сердечным делам», как я сам себя называл, планировал на «Боинге» рейсом из Нью-Йорка, не представляя, что ждет меня в родной конторе.

Конечно, я понимал, что не все благополучно в Датском королевстве. Но не вникал, а меня особенно и не посвящали. Сидел неделями дома, потом — взмах волшебной палочки, и я за океаном. И вот теперь...

Прилетев перед самым Новым годом, я едва ли не в тот же день оказался в редакции, на праздничном вечере в зале, где проводились летучки и заседала редколлегия, теперь тут была вся редакция. Улыба-

ющиеся лица, но улыбки какие-то осторожные, искусственные, с оглядкой. Расселись. Коротич произнес банальную речь. И вдруг, на глазах у меня, не успевшего ни с кем из друзей толком переговорить, к столу, за которым сидел главный редактор, стали подходить люди, самые близкие мне, первые перья редакции, самые талантливые, они молча клали листок на стол — заявление об увольнении — и выходили из зала в коридор. А Коротич — кумир миллионов читателей — нервно брал в руки очередной листок и, оглядывая зал, восклицал:

— Ну, кто? Кто еще?

И кто-то вставал из толпы и шел к его столу. У некоторых листки с текстом были заранее припасены, другие второпях, на коленке, писали, делая тут же свой выбор.

Наконец пауза затянулась, и все поняли, что волна прошла. Коротич забрал листки, молча направился в свой кабинет. А те, кто остался в зале, — знаменитое редакционное «болото», уже недовольное, что испортили праздник, со все нарастающим негодованием забулькало. Еще несколько растерянных журналистов, людей, склонных оставаться в стороне от резких движений, потянулись к выходу, постепенно дробясь на группы, разбредаясь по коридору, по кабинетам.

Я был потрясен случившимся. Сеня Елкин, бледный, какой-то внутренне окаменевший, коротко рассказал мне о том, что происходило в редакции, пока я благодумствовал в своей суздальской деревне, а потом навещал сына за океаном. И вдруг спросил в упор:

— Вы с нами?

Елкин всегда говорил мне «вы», несмотря на дружеские отношения, подчеркивая и свое уважение, и разницу в возрасте, и служебную субординацию, и дистанцию, которая никогда не стирается между учеником и учителем.

Я не ответил. Я переходил от группы к группе, меня спрашивали о поездке, я что-то отвечал, меня не слушали. Наконец я столкнулся лицом к лицу с Юмашевым, самым приближенным к Пущину человеком, его «женский батальон» давно уже дрогнул, а сам Юмашев стремительно делал карьеру, сперва взял интервью у опального Ельцина, потом превратил эту беседу в маленькую, но сердитую книжицу, поговаривали, что он у Ельцина чуть ли не домашний человек, и — конечно же — теперь не он нуждался в поддержке со стороны Пущина, а Путин, как считали, развративший Юмашева, сам искал его защиты и внутри редакции, и за ее пределами.

Я спросил без обиняков:

— Скажи, Валя, если Путин чист, пусть об этом узнают все. Почему Коротич скрывает результаты аудиторской проверки? А может быть, у главного есть основания беспокоиться? Причем не только о судьбе своего зама, но и о своей?

Юмашев смотрел на меня странным взглядом, как будто издалека, с противоположного берега, и я не мог разобрать ни этого взгляда, ни черт лица, даже само присутствие человека казалось нереальным, Юмашев был уже где-то далеко.

— Ты так считаешь? — холодно спросил он.

И, не дожидаясь моего ответа, резко повернулся и пошел прочь.

Полночи я размышлял, как поступить. Ничего не делать — это казалось мне делом стыдным. Разбираться в ситуации мне не хотелось и представлялось мероприятием малоперспективным. Все равно я не смог бы ни понять, кто виноват, ни повлиять на ход событий, будучи, по сути, не у дел. Кто я? Вольный стрелок.

Но если из редакции ушли мои самые близкие товарищи, то что мне, собственно говоря, в ней делать?

Я видел, с какой поразительной легкостью Коротич принимал заявления об уходе и как сладострастно повторял: «Кто? Кто еще?»

И тут я вспомнил, что несколько месяцев назад познакомился в Дагомысе с Павлом Глобой и его женой Тамарой. Записал беседу с ними — астрологический прогноз страны. Коротич отказался его опубликовать, так мрачен был этот прогноз, да еще я придумал название «Полет над пропастью». И я напечатал его в Нью-Йорке в «Новом русском слове» и вез единственный экземпляр с собою, но он остался у юмориста Леона Измайлова, который летел со мной в одном самолете и попросил почитать.

Теперь я вспомнил об этом прогнозе, вернее о том, как закончилась наша беседа с астрологами. Тамара Глоба, милая колдунья, сказала мне:

— Знаете, а ведь вы уйдете из «Огонька».

Чепуха! — подумал я. Подобное не входило в мои планы. Я стал обозревателем и наслаждался своим новым положением.

— Причем еще в этом году, — уточнила Тамара. «С ума сойти!» — подумал я.

Шел третий час ночи. Завтра, вернее уже сегодня, последний рабочий день в году.

«Успеваю воплотить замысел звезд...» — решил я.

И в несколько строк изложил свою позицию на листке бумаги, потом сверху написал: «Заявление». Поставил свою подпись, число, месяц и год.

А утром, приехав в редакцию, ни к кому не заходя, прошел в приемную Коротича и, покачав отрицательно головой на приглашение секретарши пройти к главному, молча положил ей на стол листок бумаги.

Человек свободен в своем выборе, что бы ни говорили о судьбе и предначертанности поступков. В любую секунду можно изменить направление, отклониться хотя бы на градус, и ветер жизни понесет тебя, как корабль, с волны на волну, уже иначе. И горизонт, такой одинаковый, когда смотришь на него издали, начнет преподносить другие сюрпризы, по иному сценарию. Надо совершить этот маленький поворот, чтобы открыть для себя иные тайны.

Мог ли я не пороть горячку? Сообразить, что утро будет для меня концом журналистской судьбы?

Подожди я день или два, прошли бы две новогодние недели — затяжные российские каникулы, особый наш способ передохнуть в бесконечной гонке, пришло бы похмелье, голова посвежела бы и появились бы здравые мысли.

Хорошо заглянуть туда, где мы не были, одним глазком увидеть себя, несостоявшегося, другого или — состоявшегося иначе. Но, увы, на нашей планете нет второй судьбы. Все в одном экземпляре.

Я сделал так, как сделал. Журнал потерял. Изда-ли я наблюдал за «Огоньком», который превратил-ся в маленький, но пухлый глянцевоый журнальчик, похожий на пеструю африканскую птичку. И по-крикивал назойливо, но нестрашно. Крохотные за-метки о том о сем, политическая тусовка, хроника президентской семьи. Пущин, возглавивший редак-цию, обеспечил ее новой компьютерной техникой, все стало технологично и современно. В трудные для страны годы взлетевший высоко Валентин Юмашев, занявший пост главы президентской ад-министрации — с ума сойти! — отщипывал от своих щедрот Пущину за лояльность то через один банк, то через другой. С Коротичем обошлись цинично, в духе времени. Сперва Пущин, вполне овладевший коллективом, повесил вопрос: «А почему в труд-ную для страны минуту, когда власть перешла к ГКЧП и по Москве разъезжали танки, Коротич, оказавшись за границей, в течение нескольких тре-вожных дней никак не проявлял себя, не обнаро-довал своей позиции, с кем он, на чьей стороне?» И Коротич, чтобы избежать скандала, публичной порки и неизбежного срама, тихо исчез из редак-ции, уехал в Штаты и долго преподавал там, потом вернулся и практически исчез из публичной жизни, если не считать двух-трех случаев, когда его скоро-говорка была зафиксирована камерой в телешоу в разгар политического плюрализма. В редакцию «Огонька», где оказалось сразу полтора десятка вакансий, пришли другие журналисты и среди них бывшие мои друзья. Гера Пальм, жизнерадостный карбонарий эпохи совместных игр с Горбинским, тот самый Пальм, который в знак солидарности по-

кинул «Младокоммунист» вслед за мною и Лямки-ным, теперь объяснял свой поступок по-житейски просто.

— Время изменилось! — сказал он. — Вы ушли, а я тут при чем? Я истосковался по публицистике. А с вами работать или без вас, с Пущиним или без него, мне все равно. Я ни перед кем не в долгу, это мое личное дело.

Я не удержался, спросил, сколько же платят банкиры за нынешнюю работу.

Пальм назвал цифру.

Я онемел. Таких денег хватило бы на содержа-ние полдюжины спецкоров в нашем «Огоньке».

— Гера! — сказал я. — Если бы генерал Бобков, который гонял нас с тобою, как зайцев, выслежи-вал, устроил разборку в комитете партконтроля, потом годами опять следил, чтобы ничего не на-творили, если бы вместо всего этого нам дали, каж-дому, по такой зарплате, может, мы бы утихли? Да и им обошлось бы дешевле — как ты думаешь?

Гера жизнерадостно захохотал.

Этот отрезвляющий смех еще долго звучал в моих ушах. Мои коллеги, каждый по-своему, ре-шали свои проблемы. Критик Вигилянский надел рясу, служил в церкви при старом университете и однажды даже пригласил меня на коллективную трапезу. Все это было для меня незнакомо и даже удивительно, ново, необычно и озадачило. Когда Вигилянский отважно воевал с КГБ, это казалось мне естественным, а когда он теперь обрушился на фильм Скорсезе «Последнее искушение Христа» и сказал, что его, конечно, нельзя показывать по телевидению, я не мог понять его доводов.

Первое время мы, несколько человек, ушедших из «Огонька», пытались повторить наш опыт, выпустить подобие прежнего журнала. И даже сделали два-три номера. Но все рухнуло. Деньги, спонсоры, ничего не получилось.

Олег Хлебников теперь работал в «Новой газете», там же — в качестве зама главного — оказался и Юрий Щекочихин, юный пионер из моей молодости, из «Алого паруса». Он раскручивал в этом новом — не по названию, а по сути — издании теперь такие дела, что не только я, читавший газетные материалы, диву давался, а вся страна прильнула бы к газетному листу, будь тираж, как у нас в «Огоньке». Дмитрий Муратов, создавший «Новую», — конечно, посланник неба к нам. Еще была жива и Анна Политковская, нас познакомил Хлебников в редакционном коридоре, и я мог бы протянуть руку, дотронуться, догадывавшись, что нахожусь около святой. Еще не убили и Щекочихина, но курс газеты уже обозначился, и пока мы, читатели, искренне радуясь плюрализму либеральной эпохи, читали все подряд и не выделяли «Новую» среди прочих изданий, упиваясь свободой мнений в печати и Савиком Шустером на ТВ, локаторы недругов уже засекали нашу свободу и повели ее как цель для уничтожения.

Я не терял надежду возродить «Огонек». И направился к Артему Боровику, который возглавлял теперь фирму «Совершенно секретно», и дела его, похоже, шли успешно. Я собирался задать ему вечный вопрос: «Что делать?» Меня мучила участь нашего общего детища — ведь Артем тоже успел послужить в «Огоньке», хотя и избежал скандального

финала, покинув редакцию в пору ее расцвета. Я не забыл, как Артем стоял под окном больничной палаты и махал мне рукой. Артем, конечно, сообразит, что делать, он молод, силен, современен. Нельзя допустить, чтобы такой потенциал, каким обладал «Огонек», растекся в ручейки и те высохли поодиночке. Невозможно видеть убогую безделушку под аналогичным названием, которая выходит скудным тиражом, как пародия или издевка. Что скажет Артем? Может быть, у него есть на этот счет какие-нибудь соображения? Надо собрать раскиданных по углам журналистов, надо напомнить читателю, что мы живы, не уничтожены, не перекуплены. Наш читатель не мог исчезнуть без следа, я в этом ни минуты не сомневался.

Я позвонил, назвал себя, попросил передать Боровику, что хочу с ним встретиться. Мне ответили: «Артем Генрихович вас не знает и принять не может».

Я растерялся, воскликнул: «Этого не может быть! Это недоразумение. Верно ли доложили фамилию?» — «Все в порядке, — ответили мне. — Так и сказали, назвали фамилию, но Артему Генриховичу ваша фамилия ни о чем не говорит».

Я убеждал себя: услужливая девица проявила инициативу, Боровик и не знает о моем звонке.

Но по сердцу царапнуло. Да кто я теперь для Артема? Пришелец с планеты, которую уже распахали, обескровили, к которой потеряли интерес.

Понимая бессмысленность своих блужданий, я действовал как бы машинально, следуя внутренней пружине, которая толкала меня. Так я отворил странную дверь с ручкой в виде вытянутой сверка-

ющей золотой руки, подумав: «Ну и вкусы у нового времени». Это была редакция на улице Врубеля, у Сокола. Я пришел к Владимиру Яковлеву, президенту всего, что связано с понятием «Коммерсантъ». «Невообразимая величина!» — отметил, проследив взглядом, как массивная дверь с диковинной ручкой медленно закрылась за мной. Четверо охранников резво поднялись навстречу, пятый остался за компьютером. Долго и упорно разглядывали меня и мой «прикид», не веря, что такой типаж может быть приглашен к «самому», сверялись с компьютером — все точно, пропуск заказан.

До назначенного времени оставалось несколько минут. Я побродил по коридору, едва не расшиб лоб о стеклянную дверь, приняв ее за проем в стене. Полюбовался полотнами абстрактной живописи. Отметил: «Немалых денег стоят!» Сквозь стеклянные стены были видны компьютеры, сотрудники. «Сидят спокойно, без напряжения, — оценил я. — Ходят туда-сюда без спешки. Никаких нервов, никакого бурления и фонтанирования, как у нас, не заметно. Вообще не чувствуется эмоций. Все солидно и как-то даже сонно. А говорят, что у них потогонная система».

Яковлев оказался стройным молодым человеком в сером костюме-тройке с милой улыбкой на лице. Аккуратно подстрижен, смотрит приветливо, будто всю жизнь ждал моего визита. Я без труда узнал его, хотя никогда его не видел, — так поразительно он был похож на своего отца Егора Яковлева, только тоньше, изящнее и, конечно, моложе.

Хозяин кабинета в этот момент, когда я вошел, перекусывал, попросил извинения, встал навстре-

чу, потом вернулся, чтобы допить свой чай и доест кусочек банана. Я молча положил перед ним кратко изложенную суть проблемы. Яковлев скосил глаза и, допивая и доедая, просмотрел, чтобы не терять времени. И когда закончил, вытер губы салфеткой и произнес тихо, не заботясь о том, слышат ли его:

— Неперспективно.

То есть делать такой журнал, какой делали мы, неперспективно.

На душе было муторно, и в голове трепетала мысль: зачем я обрек себя на такой срам? Позвонил этому холеному мальчику, растолковал ему, кто я, не постыдился, напомнил, что в команде, которая задумала «Коммерсантъ» и выпустила пилотный номер, был и мой сын. Понадеялся: вспомнит! Ровесник же. Вместе крутились. Сын тогда, в конце восьмидесятых, вернувшись из Афганистана, искал для себя применения. С восторгом рассказывал о проекте издания «Коммерсанта», уверял меня, какие это замечательные, какие новые люди, а я, скептически настроенный, сомневался, говорил: «Да обыкновенные дельцы, не более того!» Мы даже повздорили, гуляя поздним вечером недалеко от дома, и сын грустно сказал: «Если хочешь так думать, думай». Это были последние его слова, застрявшие в памяти, последний наш вечер. А для него — вообще расставание с жизнью.

На трамвайной остановке две тетki с холщовыми сумками, набитыми пустыми бутылками, негромко переругивались, ждали, как и я, трамвая. Пенсионер нервно ходил взад-вперед. Мимо пронесся разрисованный сигаретными ковбоями трол-

лейбус. Все дружно отпрыгнули в сторону, чтобы не обрызгал.

Последний визит, как бы завершая круг — прошло уже несколько лет, — я нанес в редакцию нового «Огонька», где теперь правил бал мой старинный товарищ, который когда-то и сосватал меня в «Огонек», Влад Белов. Случается же такое! Тихий, ласковый Влад, вечно окруженный нимфетками, секретаршами, девочками для кофе, которые души в нем не чаяли, пересидел жестокие схватки, дождался, когда суровые бойцы перерубили друг друга, а само издание превратилось в «гламур», к которому у Влада всегда была потаенная тяга, и вот именно он оказался ко двору. Влад хорошо улавливал ситуацию, великолепно ладил с людьми, всех устраивал, и теперь именно он отправился в Швейцарию на смотрины к новому хозяину «Огонька» богачу Березовскому и, как видно, очаровал его.

Я наивно полагал, что Влад развернет «Огонек» вспять. И готов был помочь ему в этом.

Мой товарищ прочитал мне лекцию об общественной ситуации — такое прежде трудно было себе представить. Он сидел в кресле Коротича-Пущина, что само по себе было уже удивительно, угостил меня чаем. Влад не стал расспрашивать о том, как я живу, чтобы не грузить себя моими проблемами, но быстро уловил, с чем я пришел, и сказал, что делать ничего такого не надо, никаких шагов к социальным баррикадам.

— А что надо? — спросил я.

— Надо ориентироваться на класс состоятельных людей, — ответил Белов. — Очень состоятель-

ных! Ибо они хозяева жизни и смогут порадеть за Россию.

Какие-то наши ученые вывели новую корову. Скрестили обычную корову с зубром, получили потомство. Расчет был такой, чтобы уникальное животное давало молока, как корова, а выносливо было, как зубр. Как сказал один новый мудрец, хотели как лучше, а получилось как всегда. Корова оказалась прожорлива, как зубр, а молока вовсе не давала.

Почему у нас такая судьба, думал я, быть между Западом и Востоком, заигрывать с Европой и греть спину солнцем Азии? Ладно, соглашался я, социализм не тот построили, были первопроходцами, но почему капитализм бандитский? Почему обязательно надо, чтобы прожорливы были, как зубр, а молока не давали? Говорят, что всему виной папство, которое направляло против Византии и нас, русских, крестовые походы. Мировой империализм виноват, Уолл-стрит и, конечно, заговор сионистов, банков, международной мафии. Да еще Петр с его реформами, Екатерина с ее немцами. Испортили нам историю, извратили ее, притупили нашу бдительность. В этом контексте не так уж страшны большевики, они империю укрепляли, а Западу грозили кулаком и с «пятой колонной» поступали как с врагом. Сколько я помнил себя, я только и слышал хулу Европе да Америке.

Сперва это была твердолобая советская пропаганда, эффективная только потому, что никто из простых смертных Европы и Америки не видел. А когда границы открылись и миллионы увидели то, что за бугром, сперва по телеящику, а потом

своими глазами, побывав с сумкой «челнока» и на западе, и на востоке, и на юге, только на севере делать было нечего среди голодных воркутинских шахтеров и ненцев-оленеводов, похожих на своих оленей, тогда пропагандисты здорового русского образа жизни признали, что Запад, конечно, богат, и еда его нам подходит, и шмотки, и жильев-евростандарт, но вот демократия не нужна, русский организм ее не переваривает. Поесть, отдохнуть, развлечься, фильмы посмотреть, журнальчики полистать, коттедж себе построить вместо русской избы, даже слова их поганые, иностранные, в себя впитаем, но взятки будем брать с нашим размахом, хамить будем по-русски, обманывать человека, не ценить его, не уважать — только по-нашему, чтобы не потерять суверенитет и собственную гордость.

Всю жизнь я боролся с политической системой, унижавшей меня, низводившей до уровня послушной машины. Сперва интуитивно, сопротивляясь, как живая тварь. Наивно хотел переиначить партию, разглядеть в ней человеческое лицо, хотел отвоевать ее у маразматиков, но понял тщетность своих усилий и бессмысленность затеи. Никто, никакой Запад не делал из меня антисоветчика, «внутреннего врага» — им меня сделала родная почва. Я говорю себе: оглянись! Жизнь прошла под знаком бесконечного отречения от иллюзий.

И если следует из нее вывод, то он такой: на отрезке, который был мне отмерен, совмещать служение и службу было невероятно трудно. Я был не лишен соблазнов, хотел добиться успеха, но всякий раз, когда оказывался перед выбором, как поступить, возникала дилемма: или служба в канцеля-

рии у Молоха — или служение Богу, как я его себе представлял. Иного было не дано. По-иному — не получалось. Хотелось выиграть, победить, и близок был успех, но оказывалось, что игра шла на собственную душу. И сохранить ее удавалось в решительные моменты, лишь терпя поражение.

Я сидел, привалившись спиной к бревенчатой баньке, которую сам построил, смотрел на закат, на слепящую глаза солнечную дорогу на реке, переплетенную силуэтами разросшихся яблонь. Рядом спал огромный пес, не обращая внимания на то, что я иногда теребил его из вредности ногою. Но ему, в отличие от меня, нравилось ощущать присутствие хозяина.

«Да все нормально, старина, — будто кто-то, прочитав мои мысли, сказал мне. — Не грузи себя, не парься».

Что за мерзкие слова, подумал я. Как отвратительно и как точно звучат.

Послесловие

ПЕРСОНАЛЬНАЯ

«ТАРЕЛКА»

Ближе к полуночи я вышел из избы. Тьма сгустилась так, что рука невольно ощупывала пространство перед собой. Монотонно шумела река. Ночь накрыла землю черным дырявым одеялом, и через отверстия мерцала чужая холодная и равнодушная стихия звезд. Состояние — ничтожнее букашки, пойманной шляпой.

Это не намек на установившийся политический режим. Просто надо мной нависло ночное небо. И это всегда жутковато, когда запрокидываешь голову.

Я вдохнул воздух, смоченный туманом, искал глазами луну, словно мне непременно надо было убедиться, что она никуда не делась, и вдруг внутренне застыл, окаменел.

Я увидел, что со стороны леса, неразличимо-го во мраке, накатывает, раскидывая искры, еще одна луна, ослепительная, хотя и поменьше размером. Что-то невообразимое, подобное огромному бенгальскому огню или фантастическому факелу горящей плазмы, приближалось, как библейская комета.

Не в силах даже испугаться, я стоял и молчал.

— Наташа! — наконец, позвал я.

Жена выбежала. Посмотрела туда, куда молча и таинственно я указывал.

— Пришельцы пожаловали, — сказала она спокойно и буднично, как будто сосед пришел с ведром за водой.

Радость охватила нас. Наконец-то мы своими глазами видим корабль инопланетян.

— Самолет? — усомнилась Наташа.

Я отрицательно покачал головой.

Прошло минуты две, как возникло чудесное сияние, исходившее от двигающегося со стороны северного горизонта странного объекта. Теперь он находился как раз на том месте, где всегда сияла Полярная звезда, — над печной трубой бани, чей контур угадывался среди зарослей яблоневого сада. Мне подумалось: «Странно! Не дает света, а только сверкает».

Тем временем корабль изменил направление движения, повернул на восток, поплыл над руслом темной реки, туда, где она круто поворачивает на юг. Он оставлял за собою след, по форме напоминающий тело дельфина, распластавшегося в небе на всю его северную половину, и этот контур дельфина мерцал бесконечным множеством хрустальных огоньков. А мы стояли посреди ночи, запрокинув головы, смотрели в небо, наблюдая сказочную картину.

— Почему они улетают? — спросил я Наташу.

— А что им тут делать? — отреагировала моя практичная жена. — Я бы тоже улетела, если бы смогла.

— В каком это смысле? — обиделся я. — Хочешь сказать, мы им неинтересны?

— Похоже, так...

— Было бы здорово, если бы они сели за рекой напротив бани. Отличная площадка!

— Ну да... А потом все мы тут, в деревне, стали бы мутантами!

Между тем мерцание почти прекратилось, таинственный объект пропал за горизонтом.

Утром ничего необычного не произошло. Я обошел сад, взглянул поверх забора на реку: не исчезла ли? Нет, течет. Ничего не рухнуло. Ничего за ночь не украли из-под носа состарившегося, но все еще грозного кобеля.

И тогда я подумал с грустью, что сказка закончилась вместе с ночью. Приключение останется воспоминанием, в которое и не поверят, если никто, кроме нас, сверкающей звезды не видел.

Однако вскоре произошли события столь необычные, что в масштабе деревни выглядели революционными.

К двенадцати часам, к традиционной кофейной церемонии, которую устраивала Наташа, появилась запыхавшаяся Лена, одинокая деревенская дачница-москвичка.

Она сообщила, что только что прогнала своего ухажера.

— Так прямо и сказала: «Отвали!»

Ее приятель вот уже месяц проживал на всем готовом и теперь пешком отправился на автостанцию, до которой десять километров.

Примерно через час подъехал Кротов, частый гость, приткнул «уазик» к воротам, вошел, сторонясь кавказца на цепи, уныло смотревшего на него,

нашел меня и рассказал, что довез незнакомого мужчину до автостанции. Тот бодро шагал с обнаженным торсом, перетянутый в поясище полотенцем, как тореадор, словно шел купаться.

— А в руке походная сумка, — сказал Кротов. — Похож на того, который у вашей Лены обитает. Может, ограбил ее?

— Нет, просто она его выгнала.

— Совсем? — поинтересовался Кротов.

Я пожал плечами, намекая на женское непостоянство.

Этот разговор протекал без какой-либо осмысленной темы, как бы ни о чем. Однако в ходе его Кротов сообщил, что теперь возглавляет местное представительство депутата Думы, но уже не коммуниста, а «медведя». Тот, оказывается, попав в Москву, сменил ориентацию.

— Но деньги платит исправно, — отметил Кротов.

Вот как! Не зря звезда сверкала ночью. Лена выгнала ухажера. Кротов, клявшийся в верности святым знаменам, снялся с мертвого якоря.

Мутации на этом не прекратились.

К середине дня стало известно, что деревня решила замостить улицу. Меня позвали на сходку, где все кричали, перебивая друг друга, но все-таки решили покончить с грязью, а заодно построить километр дороги, не доведенной до деревни при социализме Кротовым, когда тот был при власти. Били машины, бросали их в дождь в поле, месили грязь сапогами. Ждали: авось кто сделает? А тут вдруг за пятнадцать минут сообразили: манны небесной больше не будет.

«Событие!» — подумал я.

Суммировав впечатления, я понял: если бы вчерашняя «тарелка» не изменила курса, а прошла бы над головой, перемены в деревне могли бы оказаться еще радикальнее. И кто знает, может, и страна бы шелохнулась?

Я шел к своему приятелю, которого все называли Майором в память об армейской службе, сообщить ему, что нас двоих выбрали хлопотать по общественным делам. Его — за безотказность, а меня пристегнули как шибко инициативного, в наказание.

Навстречу плелся, шаркая резиновыми сапогами по дорожной пыли, рыбак Володька по прозвищу Дуремар, которого так, конечно, в глаза не называли, добрый, приветливый малый и, понятно, поддавоха. От него я услышал еще одну новость: его ровесник Санька сегодня утром бросил пить!

Это действительно невероятная вещь, если, конечно, не шутка.

Оказалось, накануне Санька допился до того, что прыгнул с автомобильного моста в реку, приводнился плашмя, его вытащили, привезли домой, а под утро он пошарил впотьмах, чего бы принять с похмелья, нащупал бутылку, сделал глоток, оказалось — уксус. Только с помощью «скорой» откачали. И теперь Санька, даже когда родной отец, дед Андрей, достал собственный заглазник, хотел поделиться с сыном, наотрез отказался.

Дуремар рассказывал об этом в крайнем смятении, повторяя, что все это очень странно.

Я спросил:

— Он сколько раз завязывал?

— Много раз, — ответил Дуремар. — Но с моста не падал и уксус не пил. А тут все сошлось.

— Так хорошо! Пропадал же человек.

— С одной стороны хорошо.

— А что с другой?

— С кем мне теперь пить? В деревне только два нормальных мужика.

— Ну, ты, брат, эгоист.

Володька повернулся и пошел к своему домику, в котором родился. Он наезжал из города и задерживался в своей развалюшке надолго, если шла рыба. Он показывал мне, как ловить без удочки и сети. Стоя в воде, шарил руками по дну, и вдруг выхватывал густеру или плотвичку с ладонь, и бросал назад в воду, считая такой лов забавой. Ловить он предпочитал наметкой, выходил рано и до ночи бродил вдоль берегов по пояс в воде среди зарослей осоки на отмелях, за что и получил среди детей свое прозвище. Иногда они оба работали у дачников: Дуремар на подхвате, а Санька — феноменальный плотник и вообще мастер на все руки — лидировал. Делали разную работу по дому, копали грядки. И брали недорого: когда — за бутылку, а когда — и за стакан.

На прощанье Володька сказал, что повесил на мою калитку полиэтиленовую сумку с рыбой. Пояснил: «Для Наташи, она просила».

Размышляя обо всех этих чудесах, я подошел к дому Майора. Хозяина, крепкого мужчину лет пятидесяти, я нашел на задворках усадьбы. Для этого пришлось обойти сложенные про запас бетонные плиты, груды старого железа, брошенные автомобильные мосты, похожие на спортивные

снаряды для тяжелоатлетов, помятые стальные бочки, трубы — все это было оплетено, как лианами, обрывками водопроводных шлангов и силового кабеля, а среди индустриального пейзажа сновали куры, на возвышениях, в труднодоступных местах, восседали, как орлы, индоутки. Майор никогда ничего не выбрасывал. Свой дом из белого кирпича, отсыревавший по углам, он теперь обкладывал брусками, которые сам же изготавливал, а для этого возил из леса на старенькой «Волге»-универсале, не добитой в таксомоторе, бревна, распиливал их, да еще сам же — уму непостижимо — готовил доски. Я смеялся: «Ты строишь бункер Бормана».

Майор — олицетворение безотказности и складистости. По первому зову помогает соседям, только скажет: «Надо, так надо!»

На этот раз я застал его в состоянии более чем странном.

Отреагировав на мое сообщение о собрании вяло, продолжая думать о чем-то своем, Майор вдруг произнес слова, которые я никак не ожидал от него услышать.

— Надоело! — сказал он. — Копаюсь в земле, а что толку? То утки, то гуси, то кролики — все перепробовал. Теперь пчел завел. Да они улетают от меня рой за роем. Где богатство, скажи? Пенсию жду, как спасение. Иногда приходит мысль: поотрубать головы всем этим курам да уткам, вытащить весь хлам трактором со двора, посеять травку, сдать дом каким-нибудь предприимчивым людям, пусть делают, что хотят. Да хоть бордель заводят! Поселюсь во временке, наймусь к ним сторожем —

не выгоднее ли будет, а? — спросил он меня, то ли всерьез, то ли в шутку.

«Так, — подумал я. — Еще один мутант намечается».

Жить в селе хорошо, но мне тяжело даются праздники и застолья. Главное — повлиять на выбор направления и запустить очередь «произносящих тосты» по дальней от себя орбите, тогда можно избежать собственной застольной речи. Иногда я исчезаю «по-английски», оставляя в заложницах жену, впрочем, она остается с удовольствием.

Есть еще прием: в разгар застолья начать шумно требовать перехода к чаепитию или хотя бы к горячему. Жена Майора Мила принимает мои слова за чистую монету и простодушно восклицает: «Но ведь не все салаты съели!»

О, господи! Сколько же она их наготовила? Оливье («Это твой любимый!»), с крабовыми палочками, под шубой, с яйцом и кукурузой, из краснокачанной капусты, такой, сякой.

Наконец, объявили перерыв. Народ разбился на группы. Женщины сбились в кружок и запели. Мужчины под светом уличного фонаря курят и беседуют о политике. Лица искажены и размыты полумраком, дымком и морозным паром от дыхания, мне чудится, что я среди моих сибирских работяг полвека назад. И опять меня пробуют на зуб.

— Думаешь, управляет Кремль? — провокационно начинает Лопухин и смотрит в упор на меня.

— А я при чем? Я что — в Кремле работаю?

— Да наше правительство не в Москве, а за океаном, понял? — продолжает Лопухин, неловко удерживаясь.

живая сигарету изуродованными артритом пальцами монтажника-лэповца и рыбака подледного лова. В запасе у него, я знаю, еще Пикуль, которого он проштудировал и будет меня им прессовать. — Ты понял, Лушин? Не в Москве правительство!

— Ты серьезно так полагаешь? — не выдерживаю я.

Тут вступает Федя, неожиданная для меня поддержка. Федя недавно побывал у родственников в Израиле и знает что почем. Поездка в Израиль пошла ему на пользу.

— В Кремле такие же люди, как мы. Ни хрена не умеют.

— Да Россию грабят. Все сидят у нас на шее, иммигранты совсем обнаглели...

Я тихо отошел в тень и скрылся за воротами, осуждая себя за бегство с поля боя. Шел в свете луны по пустынной зимней улице и воображал: вот если бы «тарелка», звезда эта, сверкавшая в ночи, повлияла на нас так, что все бы вокруг пошло по-другому. Дорога у нас теперь есть, улицу мы замостили, суздальские шалопаи гоняют по ней на машинах, ездят на пляж, как будто для них строили. А что, если поперек дороги на въезде в деревню поставить шлагбаум, сварить его из уголка, чтобы даже трактором не сломали, с бетонным противовесом и амбарным замком. Запираем! Над шлагбаумом водружаем надпись на русском и английском: «Частная собственность — зона любви».

У всех дачников свои ключи, а чужаки кладут в сумку, подвешенную тут же, деньги. Положил червонец, проехал. Не положил, поворачивай обратно.

Постепенно приучаем гостей к порядку. Непонятливым суем в лоб двустволку (она есть у Майора). Дорога, мол, построена на пенсионные деньги. Тем, кто качает права, показываем липовую бумагу, чтобы отстали. Ментам ставим самогон. Через месяц слух о нововведении будоражит умы в Суздале, туристы и местные лоботрясы со своими «телками» прут посмотреть на сумасшедших пенсионеров. Мы встречаем радушно, каждому, кто едет на наш живописный пляж, вручаем фирменный деревенский коврик ручной работы, сделанный из лоскутов рукодельницей Машей, женой моего друга Льва Макеева, бывшего диссидента, который забросил политику и строчит романы. Коврики — чтобы отдыхали не на траве или песке, а культурно. Пустынный уголок среди природы на берегу чистой реки превращается в любимое место уединения для парочек. Не стоит беспокоиться: ваш автомобиль под присмотром бдительного ока дежурного из местных жителей. Можно развести костер, заботливые деревенские старички приготовили вязанки дров. На въезде, у шлагбаума, забывчивым могут бесплатно вручить (хитрости рекламы!) контрацептивы, в умеренных, конечно, количествах. Народ сходит с ума от счастья.

Развивая мысль, я вообразил перспективы оригинального бизнеса.

С противоположного берега, пробираясь лесными тропами, к нам на пляж пытаются проникнуть суздальские индивидуалки. Чтобы они не утонули, переплывая коварную реку, организуем переправу. Дети-школьники из многодетной семьи, воспитанные Мариной-художницей в гуманистической

традиции, несут дежурство на берегу, оказывая помощь пострадавшим. Плетут из полевых цветов венки и надевают на головы суздальских путан. Одновременно собирают пустые бутылки в общий доход. Порок к этим детям не пристает, они обладают солидным запасом нравственной прочности.

Как зажила бы деревня! Как весело и полнокровно. Катись в тартарары упрямая и глупая страна со своими президентами. У нас свой оазис.

Конечно, не обошлось бы без наезда бандитов.

— Отцы, мы будем вас защищать, — сказали нам бандиты, прикатив на джипе.

— От кого? — поинтересовался я как представитель артельной прессы. На моем лице светилась лукавая улыбка Ильича.

— От других бандитов, — ответили хлопцы.

Тут следует два варианта поведения.

Правдолюб Лопухин, который для друга ничего не пожалеет, а к врагам беспощаден, стал кричать: «Это грабеж среди бела дня!»

А мудрый Федя предложил задуматься над опытом Израиля: евреи умеют действовать и жестко, и гибко. Он сказал, что ради общего дела готов срочно вылететь в Тель-Авив для изучения практических приемов «Моссада». Смету расходов, во что это обойдется деревне, обещал представить вечером.

Майор напомнил, что не зря его так называют, и согласился возглавить народное ополчение. Но кто станет Козьмой Мининым? Кто сделает первый денежный взнос, заложив для этого в банк собственную жену?

Все потупили взоры, пожимали плечами, недвусмысленно намекая, что эту почетную участь дове-

ряют мне как инициатору. Тут взбунтовалась моя Наташа, обычно покорная, потребовала проценты за честь оказаться банковским залогом. Никогда не замечал меркантильности в характере моей любимой. Правду говорят: душа женщины — потемки.

Неожиданно налетел ветер, небо заволокло тучами в мгновение ока. Хлынул дождь. Бандиты сели в свой джип и убралась восвояси, пообещав: «Мы еще вернемся. По фактической погоде».

Я почувствовал влагу на губах. Что-то сильно секло по глазам, мешало смотреть. Дождь? Но какой-то странный, колючий. Да это же снег! Зима... А я бреду среди ночи домой по деревенской улице.

Улица у нас прелюбопытная. Что ни дом, то средневековый замок с привидениями, и в каждом — свои тараканы.

Вот старенький домик, прижатый к земле тяжелыми годами совдепии, втянувший голову в свой дряхлый панцирь, как черепаха. Над ним под сизым ночным небом в вихре снежинок вьется дымок, это хозяйка по имени Лена оставила без присмотра печь, а сама произносит душевный тост в компании, которую я только что покинул.

Лена работала со мною в редакции, куда я попал после исхода из «Огонька», перепечатывала статьи гениального и сумасшедшего Аграновича, шефа-редактора экономического отдела, который стал очередным моим спасителем. Теперь она в нашем селе. Как и Макеев, путь которого на эту улицу был извилист и долог, с заездом в пермские лагеря. Я и Аграновича соблазнял деревенскими прелестями, но он предпочел Прагу, где и обитает теперь. Именно здесь, на этой улице, зимними новогодними ка-

никулами мы — я с Наташей и Агранович с женой Соней, увлеченной в ту пору Индией и бормотавшей мантры, размышляли, куда податься в смутные годы из России. Решили в Прагу. Соня просила нас непрерывно визуализировать, тогда Агранович заведется, говорила она, а если он заведется, то все что угодно пробьет. Мы с Наташей после отъезда гостей без конца думали о Чехии. И действительно, не прошло и полугодя, как наш замысел начал бурно воплощаться в жизнь. Но Прага отторгла нас. На четвертый день кавказец Скиф, молодой и своенравный, которого мы, конечно, взяли с собой, сломал хозяйке ногу, и Наташа лежала три месяца, смотрела на экран телевизора, повторяя: «Теперь я поняла, что такое ностальгия! Это когда даже «Санта-Барбара» на чешском языке», — и плакала: «Хочу домой!»

Теперь Агранович, ничуть не постаревший, иногда приезжает из объединенной Европы и рассказывает о чудесах заграничной жизни. Он называет себя «Сандро Пражским» и не умолкает сутками, пока бодрствует, не замечает ни реки, ни леса, ни полей, ничего из того, что нас окружает, его не интересует, он рассказывает о своем, а мы смотрим ему в рот, маленькому жестикулирующему человечку с горящими глазами и большим носом. Но я сейчас не о нем, а о хозяйке домика, из трубы которого вьется дымок.

Оставив контору, где мы оба работали у Аграновича, Лена поколесила по миру в поисках счастья, побывала в Индии по линии какого-то фонда, поработала на Крите в семье богача — словом, хлебнула. И вдруг возникла у нас в селе. Сдала в аренду

квартиру в Москве, купила за небольшие деньги старенький домик с обширным участком и, год за годом, подкапливая, обустроилась, завела огород и даже, собравшись с силами, возвела забор из неотесанного горбыля, сказав: «Это такой стиль. Называется кантри!»

Мы радовались ее успехам, она была частой гостьей у нас. И вдруг появился Вовик! Теперь она проходила мимо нашего дома, не обращая на нас внимания, а Вовик шел впереди с обнаженным торсом, перетянутый у пояса полотенцем. «Купаться пошли...» — шептала Наташа. И вздыхала.

Первым делом Вовик потребовал для себя турник во дворе, и Лена побежала к Майору и попросила его срочно соорудить турник. Вовик захотел, чтобы утром на столе стояла трехлитровая банка парного деревенского молока, и Лена, любившая поспать до полудня, вскакивала чуть свет, неслась за три километра к молочнице Шуре в другую деревню и притаскивала молоко. Вовик, врач-дерматолог, постепенно осваивал пространство, предлагал по дворам консультации «профессора из Москвы», пил молоко, которое ему наливала Лена, и мог строго сказать, глядя на нее: «Не вижу блеска в глазах!»

Так что судите сами, какое это было событие, когда Лена вдруг выгнала дармоеда. И случилось это как раз после того, как на деревню надвинулась в ночи таинственная «звезда».

Лена в одночасье освободилась от наваждения. С ней вообще произошло нечто особое — кардинальное преобразование. Она стала восстанавливать заброшенную церковь, хлопотать, стала старостой

церковной общины, привела в село отца Андрея, который в разрушенном храме провел первый молебен. А теперь и крыша есть, и двери, и окна застеклили, и купол позолоченный, и крест на нем, и Маша-золотошвейка уже загодя готовит иконы. Отец Андрей побывал у многих во дворах, освящая дома и колодцы. Зашел и ко мне. Познакомились. Я представился: так и так, человек, мол, не без недостатков, последовательный демократ и либерал. Отец Андрей оценил юмор и ответил: «А я — мракобес и великодержавный шовинист» — и сразу покорило мое сердце.

Так что «тарелочка» постаралась.

Но оставим недоступные мне, грешному, сферы.

Я пишу не о высоком, а о земном. Вот, думаю, если уж нельзя перестроить страну, было бы замечательно, реализуя мою идею, приобрести воздушный шар, написать на боку «Зона любви!», поднять его, красочный, над селом, чтобы издали было видно.

А то как-то скучно живем!

— Ну, почему вы, ребята, все пьете и пьете? — спросила Любаша, сестра Наташи, которая летом гостит у нас, правильная такая «учительница», считающая, что всех, кто совершает дурные поступки, можно перевоспитать «словами».

Перед ней стояли Санька и Дуремар, они принесли Наташе рыбу и нарвались на урок поведения.

— Вы бы не пили, а работали! С вашими-то талантами настоящих русских умельцев, — восторгалась Любаша, — могли бы только здесь, в деревне, по дворам у дачников, озолотиться! Миллионы бы заработали. Ты, Саша, женился бы, машину купил, а ты, Володя, поправил бы здоровье.

Санька молчал, а Дуремар, взяв деньги за рыбу, сказал: «Спасибо». Неясно было, то ли поблагодарил за щедрую плату, то ли — за умный совет. И чтобы предупредить очередной порыв страстной проповедницы, сказал:

— Только нам ничего этого не надо!

— Как не надо? — взметнула Любаша брови. — Не надо здоровья и счастья? Хорошего дома, машины, жены?

— Да нам и так хорошо, — простодушно молвил Дуремар. — Чего нам надо-то? Стакан! Да чего-нибудь пожевать. А все остальное у нас есть. Вон какая река рядом!

И пошли оба, прикидывая, где могут раздобыть по «стакану» на брата прямо сейчас. У Майора теперь не разживешься. Он свою фирменную гнать перестал. Разве что в Новоселках? Но там уж больно вонюча. И голова от нее болит. Из чего только женщины ее производят?

Такая вот нехитрая альтернатива: или головная боль от плохого самогона, или зубная боль — от тоски, нарисованной моралисткой?

Других вариантов у моих друзей не было, а свой проект развития событий я им не успел обрисовать. Оба они вскоре умерли, царство им небесное. Мы с Наташей всегда вспоминаем их. Как и коммуниста Кротова, тоже покинувшего село и землю.

Мое повествование о собственной жизни я завершаю правдивым отчетом о космическом событии: о визите к нам НЛО. Свидетелями которого мы были с женой. В качестве вещественного доказательства могу предъявить некое странное сооружение, появившееся вскоре невесть откуда и с

виду похожее на телефонную будку в стиле хай-тек. Вдруг приехали странные люди на грузовике с кучей железа. Сказали: «Вам положен телефон-автомат!»

Жена Майора Мила с криком выбежала из дома и потребовала, чтобы они убирались прочь, во всяком случае куда-нибудь подальше. Наворочают сейчас на ее полянке перед домом, где уже хватает чудовища-трансформатора. Ну, и уехали! Сообщив, что мы могли бы бесплатно звонить в город, в магазины, в конторы чиновников, в милицию и пожарникам. Мила, когда до нее дошло, чего она лишилась, сперва расстроилась, но несильно. Да кому он нужен — телефон-автомат? У каждого в кармане есть свой сотовый.

Таинственные визитеры, которым, как видно, тоже нужно отчитываться в своем дьявольском ведомстве, воткнули будку где попало, среди бурьяна. И пропали. Как испарились.

Стоит «оно» метрах в двухстах от нашей улицы, зимой в снегу, на котором никогда не видно никаких следов. Никто к телефону не подходит! Никто по нему не звонит и летом, хотя, понятно, летом следов не видно.

Желающие могут убедиться, что я не лгу. Но приближаться к сооружению, а особенно пытаться позвонить, не советую. Мало ли чего? Кто знает, куда дозвонишься?

Я продолжаю мечтать и строить планы. Глобальные проекты, вроде штурма Лубянки, я отложил на время. Мне бы воздвигнуть рядом с домом ветряк на высоком берегу, чтобы задаром получать электричество. Еще я мечтаю перебросить через реку

мост на тросах и с роликами, я видел такие у десантников, но Лопухин категорически против.

— Знаешь, — говорит, — сколько понаберется чужого народу!

Довод, конечно, серьезный.

Но главное, меня не покидает мысль: если нельзя обустроить всю страну, то хотя бы перегородить улицу шлагбаумом, повесить замок... Ну и так далее, вы уже в курсе.

Литературно-художественное издание

Глотов Владимир ?????????????

ОГЛЯНИСЬ

Жизнь как роман

Ответственный редактор О. Старикова

Компьютерная верстка: С. Валишин



ОБЪЕДИНЕННОЕ ГУМАНИТАРНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

101000, Москва, Кривоколенный пер, д. 10, стр. 6а

Тел./факс: (495) 621-98-52; тел.: (495) 744-31-70; e-mail: info@ogi.ru

Информация о книгах издательства: <http://ogi-press.livejournal.com>

КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВ ОГИ И Б.С.Г.-ПРЕСС МОЖНО ПРИОБРЕСТИ:

В РОЗНИЦУ В МОСКВЕ

- кафе «Нейтральная территория», м. «Китай-город»,
Новая площадь, д. 14. Тел.: (495) 621-27-37.
- Книжный клуб Спорткомплекса «Олимпийский»,
м. «Проспект Мира». Тел.: (495) 688-57-36.
- Книжный магазин «Москва», м. «Пушкинская», «Тверская»,
ул. Тверская, д. 8. Тел.: (495) 629-64-83, 797-87-17.
- ТД «Библио-Глобус», м. «Лубянка», ул. Мясницкая, д. 6/3, стр. 1.
Тел.: (495) 781-27-37.
- Московский дом книги, м. «Арбатская», ул. Новый Арбат, д. 8.
Тел.: (495) 789-35-91.
- Дом книги «Молодая Гвардия», м. «Полянка», ул. Большая Полянка,
д. 28. Тел.: (495) 238-50-01.
- Книжный магазин «Фаланстер», м. «Пушкинская», «Тверская»,
Малый Гнезниковский пер., д. 12/27. Тел.: (495) 629-88-21.

ОПТОМ

КД «Б.С.Г.-ПРЕСС», Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 22/31.

Тел./факс: (495) 912-96-44, тел. (495) 912-26-51.

В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАХ

www.esterum.com и www.ozon.ru

Подписано в печать 30.07.2009. Гарнитура Charter.

Формат 84×100^{1/32}. Объем 8,0 печ. л. Бумага офсетная. Печать офсетная.

Тираж 5000 экз. Заказ №